

ISSN 0130-3500

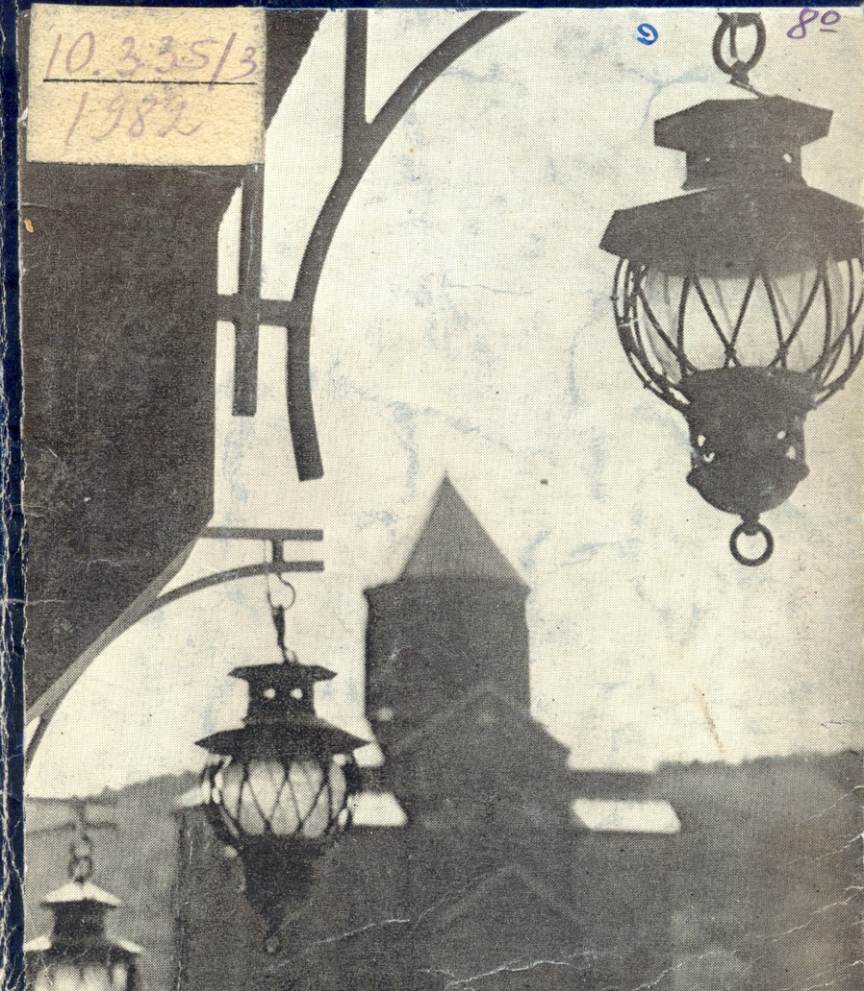
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ 8

1982

10.335/3
1982

9

80



10.335/3
1982



Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

Издается с июня 1957 года

СОДЕРЖАНИЕ

ДЖУМБЕР ПАТИАШВИЛИ. Поиск и решения 3

ПОЭЗИЯ

МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ. Стихи. Перевод Мар-
гариты Алигер 16

ВАХТАНГ ХАРЧИЛАВА. Стихи. Перевод Ла-
рисы Фоменко 42

СЕРГЕЙ СЕРЕБРЯКОВ. Стихи 82

ПРОЗА

СЕРГО КЛДИАШВИЛИ. Отшельник из Са-
краулы. Рассказ. Перевод В. Робаки-
дзе 20

РАМАЗ КОБИДЗЕ. Рассказы. Авторизован-
ный перевод 49

ПЕТР ВЕГИН. Вальс под голос кукушки. По-
весть - воспоминание. 88

АРЧИЛ БЕТАНЕЛИ. Необычная гостья. Фан-
тастический рассказ 143

8

1982

ГУРАМ АСАТИАНИ. О грузинском. Продолжение. Перевод Виктории Зининой	147
ЛЕВ ОЗЕРОВ. Иосиф Ноншвили и его поэзия	176

РЕЦЕНЗИИ

ЭТЕРИ ГУГУШВИЛИ. Четверть века или вся жизнь	193
В. ВАХТАНГАДЗЕ Это доброе слово «имеди»	197

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ГЕОРГИИ ЦИЦИШВИЛИ И. С. Богомолу — 50 лет	201
---	-----

ИСКУССТВО

МИРА ПИЧХАДЗЕ. «Быть близким к людям...»	205
ВЕРА АЛЕКСЕЕВА. Слово о Дато Крацашвили	212

ПАМЯТИ РИММЫ КАНДЕЛАКИ	219
------------------------	-----

ХРОНИКА	221
---------	-----

ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА	223
-------------------------	-----

новления ЦК КПСС по Тбилисскому горкому партии прирост среднегодовой валовой продукции сельского хозяйства в Грузинской ССР составил 59 процентов. На 100 гектарах сельхозугодий в республике производится сейчас почти вдвое больше валовой продукции, чем в среднем по стране.

Однако обольщаться этими показателями не приходится, ибо, в конечном счете, главный критерий здесь — удовлетворение потребности населения в продуктах питания. В этом же направлении у нас еще непочатый край работы. Мы хорошо помним и воспринимаем как боевую задачу справедливую критику товарища Л. И. Брежнева, который упрекнул нас в том, что мы еще в республике недостаточно производим продуктов сельского хозяйства, особенно животноводческой продукции на душу населения.

Именно поэтому в условиях, когда современное производство представляет собой сложный комплекс производственных связей — сельскохозяйственных, заготовительных, транспортных, снабженческих, ремонтных, строительных и других предприятий и организаций, четко проявляется необходимость всемерного улучшения координации, объединения многогранной работы всего агропромышленного комплекса, повышения заинтересованности и ответственности министерств и ведомств, предприятий и организаций за конечные результаты.

Говоря о конечных результатах агропромышленного комплекса и в особенности сельхозпроизводства, стоит подчеркнуть, что крайне неприемлем ведомственный принцип в практике управления и планирования агропромышленного комплекса Грузинской ССР, для которой характерно крайнее малоземелье, неизмеримое возрастание цены каждого гектара пашни, каждого гектара сельхозугодий. Практика недавних лет воочию убедила нас, что ведомственная обособленность и разобщенность отраслей агропромышленного комплекса приводит к неоправданному усилению централизма в решении хозяйственных и технических вопросов, насаждению административных методов управления в ущерб экономическим и, в конечном счете, низкому уровню производства, слабой заинтересованности самих производителей — колхозников и ра-



бочих совхозов в конечных результатах своего труда. По этим причинам в республике с начала 60-х годов прослеживалась крайне нежелательная тенденция снижения темпов роста производства зерна, картофеля, овощей, мяса, молока, яиц и др., т. е. основных продуктов питания. Во многих районах, там, где профилирующими отраслями сельскохозяйственного производства выступали кукурузоводство, животноводство, дело шло к тому, что общественное производство просто-напросто испытывало острую нужду в рабочей силе, ибо вследствие непродуманной системы материального стимулирования труда, низкой отдачи земли, с вкладываемых в отрасли капиталовложений, финансовых и материально-технических средств, определенной межведомственной разобщенности сельского хозяйства и смежных отраслей и служб все усиливался отток наиболее подвижной рабочей силы от сельскохозяйственного производства. В результате всех вышеназванных причин пустели горные села, да и в низине порой не хватало рабочих рук для возделывания кукурузных полей, для работы на животноводческих фермах, для надлежащего ухода за плантациями, огородами, садами и виноградниками. Чуть ли не повсеместно медленно, но верно сельский житель превращался из производителя в потребителя продуктов питания. Самое главное, в психологическом плане у части колхозников и рабочих совхозов рождалось определенное предубеждение к общественно полезному труду, а отсюда низкий уровень выполняемых сельскохозяйственных работ и, естественно, совершенно неудовлетворительные показатели урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности общественного животноводства.

В этих условиях нужно было срочно принимать меры, с тем чтобы добиться перелома прежде всего в сознании людей, коренного изменения отношения к колхозно-совхозному производству. Тут не годились приемы чисто административного характера, надо было постепенно, с учетом реальных возможностей разрабатывать и осуществлять конкретные меры в первую очередь организационного характера. Именно такой стиль, такой подход утвердился в работе Центрального Комитета Компартии Грузии в семидесятых го-

дах. Речь идет о поэтапном подходе к решению назревающих народнохозяйственных задач, к введению новых организационных и политических форм управления процессами экономического и социального развития.

Подобный подход был характерен при решении директивными органами республики вопросов укрепления районного звена партийного, советского и хозяйственного руководства. Эти вопросы строго дифференцировались, поэтапно решались, исходя из конкретно сложившихся условий в отдельных районах и регионах.

А между тем, как известно, в районном звене управления, только в сфере, непосредственно связанной с землей, мы имеем по стране (во всяком случае пока) и имели до недавнего времени и у нас в республике, как минимум, подразделения четырех независимых министерств и ведомств в лице их служб. Это — районное сельскохозяйственное управление, которое правомочно командовать только частью хозяйств, далее — районное объединение Сельхозтехники, мелиоративная служба и служба сельхозхимии. Выходит, для того, чтобы провести, скажем, сев озимых, нужно охватить поручениями, как минимум, четыре независимые друг от друга организации, а если учесть, что многие хозяйства находятся в непосредственном подчинении у разных республиканских и союзных ведомств, а также наличие таких автономных служб, как семенная, ветеринарная инспекции и прочие, выходит, что для исполнения одного простейшего сельскохозяйственного технологического процесса нужно обеспечить синхронную работу более десятка исполнителей. А кто это может сделать, кроме райкома и райисполкома?

И вот перед каждой посевной, посадочной, уборочной, заготовительной или промежуточными между ними кампаниями сидят в райкомах партии, райисполкомах компетентные товарищи и срочно готовят постановление. Расписывают детально, кто, когда и что должен делать и не делать. Это в лучшем случае, а в худшем же (и это бывает нередко) и вовсе нет такого постановления. Как следствие, каждый партнер по общему делу в отдельности жалуется на другого. Лучшие же агротехнические сроки уходят или про-



цесс выполняется без нужных, важных технологических компонентов. Результат один, и это главное, — получаем запланированную продукцию полей, плантаций, ферм.

Мы коснулись отдельных процессов только непосредственной работы на земле, ибо, как известно, процессы уборки, заготовки, переработки и реализации продукции, строительства сельскохозяйственных и перерабатывающих объектов требуют вовлечения не десятка, а порой десятков участников.

Словом, современное сельскохозяйственное производство стало сложнейшим механизмом, и его невозможно рассматривать изолированно, отдельно не только от сферы услуг и перерабатывающей промышленности, но и от многосложных процессов экономического, социального и культурного развития на селе в целом. Между тем главное из общей управленческой цепи звено — районное звено управления производством, там, где решается основная производственная задача, оказалось самым ослабленным, разобщенным, бесправным, и поэтому центр тяжести хозяйственного управления постепенно переходил на районные комитеты партии и исполкомы районных Советов народных депутатов. Речь идет не о координации, а о совершенно не свойственной для партийных и советских органов функции — непосредственном управлении технологическими процессами. Естественно, что такие сферы деятельности, как работа с кадрами, с населением, определение и проработка главных, стратегических направлений в развитии экономики, соцкультбыта, соблюдение советской законности, оставались без достаточного внимания районных партийных комитетов и соответствующих советских органов на селе.

Проблема эта не только наша. Она в разной степени стоит во всех союзных республиках, краях и областях. В последние годы ЦК нашей партии ставит эту проблему как одну из самых важных партийных задач. В докладе на XXVI съезде КПСС тов. Леонид Ильич Брежнев указывал, что «...решение проблем, которые перед нами стоят, использование возможностей, которыми мы располагаем, во многом зависят от уровня руководства народным хозяйством, уровня планирования и управления».



Отрадно и вместе с тем закономерно, что в нашей стране директивные органы широко поощряют и внимательно изучают инициативы компартий союзных республик, партийных комитетов на местах с целью обобщения полученного опыта, что нашло свое отражение в материалах майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС.

Слова тов. Л. И. Брежнева на юбилейных торжествах в Тбилиси в честь 60-летия Советской Грузии и Компартии республики—«В стране внимательно приглядываются к интересным экспериментам, проводимым в республике. Я имею в виду совершенствование управления производством и заготовками сельскохозяйственной продукции, стимулирование труда, кооперацию между общественными и личными хозяйствами» — свидетельствуют не только о том, что Центральный Комитет КПСС не забывает отметить положительные явления в жизни партийных организаций, тем более в торжественные минуты. Это своего рода подытожение той огромной работы, которую ведет ЦК партии с нашими экспериментами. По ходу дела нас направляли, подправляли, заслушивали наши отчеты на месте и в Москве на разных уровнях, в том числе в самом ЦК КПСС, а недавно — в Президиуме Верховного Совета СССР, изучали, анализировали силами союзных институтов, академий, министерств, ведомств, давали нам возможность изучать эксперименты в других союзных республиках, в странах социалистического содружества.

Оглядываясь назад, мы сейчас воочию убеждаемся, что нашим экспериментам ЦК КПСС с самого начала придавал союзное значение, но с известным тактом называл их «грузинскими экспериментами».

Стоит вспомнить, как развивался эксперимент по совершенствованию районного звена управления сельскохозяйственным производством и другими отраслями агропромышленного комплекса.

В 1974 году, учитывая активную наступательную позицию Абашского райкома партии, предопределяющую бурный подъем в сельскохозяйственном производстве района, было решено впервые в нашей республике создать объединенное управление сельского хозяйства Абашского района. В него тогда вошли только три под-

разделения: районное сельскохозяйственное управление Министерства сельского хозяйства Грузинской ССР, районное объединение Грузгоскомсельхозтехники и районное системное управление Министерства мелиорации и водного хозяйства Грузинской ССР.

Небезынтересно будет подчеркнуть, что в первый же год своего существования объединенному управлению в основном удалось решить главную задачу — подчинить деятельность трех основных партнеров главному интересу, окончательному результату — максимальному увеличению производства сельскохозяйственной продукции.

В дальнейшем, в такой последовательности, как описывалось выше, расширялись состав и сфера деятельности Абашского райсельхозобъединения, пока не сформировалась законченная организационная форма управления с централизованными фондами, затрагивающими интересы всех представленных в районе членов агропромышленного комплекса.

Если в первые годы испытания абашского эксперимента результаты работы оценивались только увеличением производства продукции сельского хозяйства, то в последующие годы и сфера оценки расширилась, переместилась на положительные социальные перемены, масштабы и качество строительства, внедрение достижений технического прогресса в производство и т. д. При всем этом в Абашском районе была испытана новая форма управления, прежде всего со стороны ее организационной совместимости, живучести, а экономическая сторона, возможность воздействия собственных экономических рычагов на целенаправленное комплексное развитие района были научно проверены после перемещения эксперимента в Махарадзевский район—район с мощной, многогранной экономикой, с большим числом высокорентабельных хозяйств, предприятий.

Когда сразу же после организации районного производственного сельскохозяйственного объединения махарадзевцы привлекли в централизованные фонды более двух миллионов рублей без особой натуги для членов объединения, ахнули даже издавшие виды скептики. Но тут же было высказано новое сомнение, мол, эти деньги бесполезно лежали в хозяйствах и пред-

приятнях, а сейчас будут также без действия лежать на балансе объединения, ибо для их вложения в дело нужны лимиты, а лимиты, как известно, не прибавляются с созданием объединения. Последнее суждение совершенно справедливо, но деньги не залеживались бесполезно. Нашлась сфера их применения. Средства были направлены на самые узкие, тормозящие дальнейшее расширение производства сельхозпродуктов участки. Такими участками в условиях Махарадзевского района оказались прежде всего предприятия перерабатывающей промышленности, производство строительных материалов, кормовая база животноводства.

В дальнейшем, по мере накопления опыта, достижения в целом положительных результатов проводимой важной организаторской и практической работы, сельскохозяйственные производственные объединения были созданы еще в 13 районах, а постановлением ЦК КП Грузии и Совета Министров Грузинской ССР от 22 декабря 1981 г. «О дальнейшем совершенствовании управления сельскохозяйственным производством и в целом агропромышленным комплексом Грузинской ССР» новые органы управления агропромышленным комплексом появились во всех районах республики.

Эти органы называются районными агропромышленными объединениями, но туда входят не только колхозы, совхозы, подразделения Сельхозтехники и Министерства мелиорации и водного хозяйства Грузинской ССР, но и предприятия перерабатывающей промышленности, строительные, торговые организации, а также остальные подразделения отраслей, входящих в агропромышленный комплекс, которые могут быть представлены в том или ином районе. При этом объединение сохраняет юридическую независимость и ведомственную подчиненность за своими членами, непосредственно управляет колхозами, совхозами, другими сельскохозяйственными предприятиями, организациями. Предприятия и организации несельскохозяйственного профиля, входящие в районный агропромышлен-

ный комплекс, в отношении объединения исходя из принципа двойного подчинения.

Это означает, что главные рычаги управления — планирование, финансирование, кредитование, материально-техническое снабжение, отчетность — не автоматически передаются в руки районного объединения, а используются им по согласованию с соответствующими центральными хозяйственными органами.

На сегодня практически исключается возможность перераспределения в районном звене капитальных вложений, материальных и технических средств между представителями разных отраслей внутри района, но объединение имеет право решать вопросы перераспределения, перестановки сил между предприятиями, организациями одного министерства на своей территории.

Следует особо подчеркнуть, что централизованные фонды, которые образуются из взносов от всех предприятий — членов агропромышленного комплекса, райобъединение направляет в нужные каналы, нужные отрасли только по своему усмотрению, причем независимо от удельного веса вкладов тех или иных предприятий. Мы не исключаем, что объединение может даже направить свои централизованные фонды на поднятие той отрасли, представители которой в районе вовсе не участвовали в создании этих фондов (такое может случиться по разным причинам), и в этом объединение подотчетно только районным и республиканским органам (это одно из важнейших положений).

Объединение со своим обособленным аппаратом, по сути дела, не является органом ни одного из республиканских министерств, ведомств в отдельности, оно представляет интересы на территории района всех отраслевых институтов, представители которых входят в его состав. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, как много работы потребуется проделать для претворения в жизнь решений недавнего майского Пленума ЦК КПСС, с тем чтобы все руководящие хозяйственные работники, в том числе и руководители республиканских министерств и ведомств, четко уяснили себе, что в лице районного сельскохозяйственного производственного объединения они приобретают наилучшего помощника, в перспективе сильнейшего партнера и для

проведения технической политики отрасли в территориальном разрезе.



Видимо, нужно подчеркнуть, что вышеназванным постановлением ЦК КП Грузии и Совета Министров Грузинской ССР не были установлены какие-нибудь новые принципы управления, неизвестные до сих пор. Найдена только новая мобильная форма для лучшего развития известного у нас сочетания отраслевого и территориального принципа управления.

Нужно сказать и о том, что постановлением ЦК КП Грузии и Совета Министров Грузинской ССР создан новый орган — Грузинский республиканский межведомственный координационный совет по управлению агропромышленным комплексом, во главе которого поставлен заместитель Председателя Совета Министров Грузинской ССР и в который входят руководители министерств, ведомств республики, представляющие агропромышленный комплекс, а также руководители таких органов, как Госплан, Минфин, Госбанк, ЦСУ, Госкомцен. Республиканский совет агропромышленного комплекса оформлен как конституционный орган и при нем образован немногочисленный рабочий аппарат, который уже действует в полную силу и призван укрепить автономию, развить инициативу министерств, ведомств в решении внутриотраслевых задач. Совет агропромышленного комплекса должен работать, если так можно выразиться, на стыках между отраслями, обеспечить сбалансированное развитие отраслей агропромышленного комплекса.

Очень важно, что ЦК КП Грузии и Совет Министров Грузинской ССР наделили его правами решать все оперативные вопросы, в том числе межотраслевого значения, что позволит разгрузить ЦК партии и правительство республики от рассмотрения и решения многих хозяйственных вопросов.

Тут все зависит, разумеется, от качества организации работы как республиканского совета агропромышленного комплекса, так и районных сельскохозяйственных производственных объединений, т. е. от нашего уровня исполнения приданных функций и использования предоставленных прав. Но это вопрос техники, а не принципа, т. е. вопрос квалификации исполнителей.



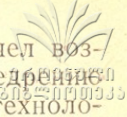
Республика Абхазия
Национальная библиотека

Подводя итоги сказанному, следует со всей принципиальностью отметить, что проверенная жизнью новая модель управления производством стала частью экономической жизни республики. Разительные результаты, полученные вследствие широкого внедрения на практике смелых форм морального и материального стимулирования, эффективных методов использования сельскохозяйственной техники, широкого кооперирования общественного хозяйства с личным приусадебным на фоне гибкого маневрирования материально-техническими, финансовыми и трудовыми ресурсами, убедили всех, в том числе наших оппонентов, что районным агропромышленным объединениям принадлежит будущее, что налицо объективная целесообразность выделения в масштабе республики агропромышленного комплекса как самостоятельного объекта планирования и управления в интересах достижения лучшей сбалансированности и пропорциональности в развитии отдельных его отраслей. При всем этом даже в условиях все еще в определенной степени межведомственной разобщенности многих предприятий и организаций, особенно союзного подчинения, достигнут перелом в развитии сельскохозяйственного производства многих районов. К примеру, в Абашском районе среднегодовой объем валовой продукции сельского хозяйства в десятой пятилетке увеличился по сравнению с тем же показателем за предыдущее пятилетие на 57 процентов, в том числе продукции животноводства — на 81 процент. Среднегодовая урожайность основной культуры — кукурузы повысилась за тот же период с 23 до 44 центнеров с гектара.

В Махарадзевском районе в 1979—1981 годах производство чая возросло на 27 процентов, citrusовых — на 81 процент, сдача мяса увеличилась более чем в два раза, молока — на 32 и яиц — на 80 процентов.

Как следствие экономического подъема названных районов повысился уровень оплаты труда работников полей, плантаций и ферм, еще краше стали села.

При всем этом нам представляется, главный результат последних наших организационных решений — это развертывание творческой инициативы наших партийных комитетов, советских хозяйственных органов. Подсчитав возможности района и широко привлекая



научные силы, Гардабанский райком партии считал возможным разработать программу работ по внедрению достижений науки, техники и прогрессивной технологии в хозяйства и перерабатывающую промышленность района, представляющего собой своеобразный аграрный пояс вокруг двух крупнейших промышленных центров республики. Многие пункты этой программы уже осуществлены, что позволило смело наметить в нынешней пятилетке внушительные темпы роста производства и заготовок овощей, зерновых культур, продукции животноводства.

Почти повсеместно, но особенно четко в Лагодехском районе, намечены и осуществляются работы по максимальному использованию местных ресурсов для развития строительной базы на селе. Достаточно отметить, что в этом маленьком районе в текущей пятилетке будут введены мощности по производству ежегодно до 5 миллионов штук кирпича, 10 тысяч квадратных метров паркета, 200 тысяч условных плит черепицы. Здесь без дополнительных капитальных вложений предусматривается за пятилетку увеличить производство зерна в 1,7 раза, мяса — в 1,8 раза, грубых кормов — в 1,6 раза.

В Горийском районе все возможности агропромышленного комплекса направляются в конечном итоге на обеспечение развития ускоренными темпами ведущей отрасли сельхозпроизводства — плодоводства. Закладка интенсивных садов, борьба с изреженностью насаждений, расширение возможностей переработки и другие мероприятия служат тому, чтобы к концу одиннадцатой пятилетки объем заготовки плодов в этом районе довести до 150 тысяч тонн, что почти на 50 процентов больше соответствующего показателя на 1980 год.

Разработанные сейчас во всех районах продовольственные программы, в основе которых лежит идея выявления и максимального использования внутренних резервов в каждом хозяйстве, позволят республике достигнуть в 1985 году намеченных рубежей по всем профилирующим отраслям сельхозпроизводства и в целом агропромышленного комплекса. Усилия сельских партийных организаций направлены на то, чтобы эффективно руководить развитием агропромышленного ком-

16035920
282410333

плекса, обеспечить творческий подход в больших и малых делах хозяйственной жизни, с тем чтобы получить максимальную отдачу от управленческих решений, от внедрения новых форм организации сельскохозяйственного производства и в целом агропромышленного комплекса. Цель всей нашей организаторской и политической работы на селе — это достижение среднесоюзного уровня по всем тем важным показателям, по которым мы еще имеем серьезное отставание. Работники сельского хозяйства, как и все трудящиеся республики, самоотверженно борются за достижение более высоких темпов роста сельскохозяйственного производства, за безусловное выполнение Продовольственной программы, утвержденной майским (1982 г.) Пленумом ЦК нашей партии и направленной на дальнейший подъем благосостояния советских людей.

121.956

ბ. მდარია ს. ს. სამ.
სსრ სსხმეცნიერ
რესპუბლიკური
ბიბლიოთეკა

* * *

Я на земле Поэзии солдат.
Лишь вдохновенье — командир поэта.
И только тем я знатен и богат,
Что есть во мне
и что на мне надето.

Я подданный Ее и гражданин.
Ее ярмо я на себе таскаю.
Достаток у меня всего один:
Все, что мне мнится
и о чем я знаю.

Какой богатый я! Как счастлив я!
Благодарю тебя, страна моя,
За все, что не сберег и не припрятал.

Я постарел? Вы думаете? Нет!
Я только устарел, как тот сонет,
Которого никто не напечатал!

АВТОПОРТРЕТ

Это — я! В зрачках — горячность рыси.
Дело делаю, а не речист.
Михаил Квливидзе из Тбилиси —
Добрых замыслов авантюрист!

Вам ничуть не страшно? Неужели?
Странно ведь, не кажется ли вам?
Сущность дела не в словах, а в деле.
Вы ведь и не верите словам?!

Дело измеряют не словами.
В деле — мера жизни, смысл жить.

Лишь в делах раскрою перед вами
Все, что знаю, что могу свершить...



Я порой печален без причины.
Вспыхну вдруг, рассеивая мрак.
То безумен, то смирней мужчины
Не найти. То мудр, а то дурак!

Захочу, и станет жизнь картиной, —
Распишу и глянец наведу.
Уведу невесту у кретина,
И жену достойному найду.

Захочу, так инвалид-калека
Станет покорителем Казбека,
А поэт, неведомый доселе,
Станет вдруг известней Мачабели!

Все чужое отниму у вора,
Хижины наполню серебром...
Только вы доверьтесь мне без спора,
Мы как в сказке с вами заживем!

Я готов пред вами повиниться,
Но мое намеренье невинно:
Я стою пред жизнью-роженицей,
Я хочу принять красавца-сына.

Что за злое время! До стихов ли?!
Что стихи, когда бушует пламя!
Над людьми трещат гнилые кровли.
Помоги им добрыми делами!

Короток наш век! Мои порывы
Не осият мирового лиха...
Познакомимся, пока мы живы:
Добрый человек, Квливидзе Миха!

* * *

Вьюжно, снежно и туманно
В мире, в памяти, в мозгу.
Город кратером вулкана
Замолчал, застыл в снегу.

Что ж так снежно? Что ж так вьюжно?
Чем я занят? С кем я пью?
Мне в пурге снежинок нужно
Угадать одну, мою!



* * *

...Тяжко, друг мой,
для забвения писать.

Э. Квитаишвили

Писать для забвенья —
действительно тягостный труд.
Ты прав, дорогой!
Состаришься, кем бы ты ни был,
другие, не глянув, пройдут.

И станет казаться,
что мир —
лишенная света дыра...

Что делать?!
Живем для забвенья...
Живем для забвенья!
Гора!

КОПИЛКА ПАМЯТИ

Лиле К.

1.

Ты лишь одна
не знаешь,
что мертва ты.

Я знаю
лишь один,
что ты жива.

Лишь это отличает
нас с тобою
от всех других —
от остальных,
от прочих.

2.

Копилка памяти моей
наполнена до края.
Жизнь кончена. Бегущих
дней
я не запоминаю.

В мое сознание путь
закрыт
надеждам и событиям,
и ни одной минуты я
не вправе уступить им.

И я лишь то (создал
творец
меня, а не другого),
что память бережно
хранит,
являет людям слово.

Владеют мною только те,
кто в землю лег и замер.
Копилка памяти полна
их добрыми делами.

Перевод Маргариты АЛИГЕР

ОТШЕЛЬНИК

ИЗ САКРАУЛЫ

● *Рассказ*

МОЯ однообразная, скучная жизнь, более того — неукротимое стремление к одиночеству тревожили моих близких и друзей.

Наконец один из них сказал мне:

— Я думаю, тебе с твоими нервами лучше уехать из города и пожить в деревне, на лоне природы.

Совет этот показался мне разумным, тем более, что отвечал и моему тайному стремлению. Я решил погостить в деревне у Мераба, верного старого друга отца, человека доброго и гостеприимного, хотя и страшноватого. Я знал, что там ничто не будет меня стеснять. Мераб рано овдовел, но не искал утешения у другой женщины, жил одиноко, со своей старой тетей.

Я знал также, что он будет искренне рад моему приезду. Вот почему, не раздумывая, в один прекрасный день я покинул город, привычное для меня окружение и отправился в далекую горную деревушку.

До Сакраулы нелегко добраться, тем не менее она влечет к себе, влечет потому, что природа там нерукотворна.

Стоит сойти с поезда на платформе одного из сел, как увидишь с южной стороны амфитеатр лесистых холмов, в центре которого возвышается одинокий конус высокой горы. Тому, кто видит эту гору впервые, может показаться, что до нее рукой подать, на самом же деле добираться до нее пешком — полдня.казалось, она возвышается здесь для того, чтоб, подобно маяку, служить ориентиром для путника.

Из поселка дорога идет полем, а за канатным мостом через большую реку начинается подъем, и она уже дорога ведет только в гору. Чем выше поднимаешься, тем дорога уже, а затем переходит в тропинку, ведущую через такой густой каштановый и буковый лес, что вокруг ничего не видно.

И только на самой вершине конуса можно оглядеться по сторонам и охватить глазом высоту, на которую взобрался. Здесь, наверху, ветер смел все и оставил только голые камни. Тишина — кроме тебя, здесь нет никого и все-таки кажется, что кто-то невидимый следует рядом и поверяет тебе сокрытую от других тайну.

Если посмотреть вниз и внимательно приглядеться, то в долине, где извивающаяся лента реки обвивает холмы, можно увидеть дымок. Там и остался поселок, тот самый, куда утром привез меня поезд. С вершины горы дома кажутся черными точками на раскинувшемся вокруг зеленом пространстве.

Налюбовавшись знакомой картиной, я продолжил путь. Прощай, последнее воспоминание о пыльных скверах! Прощайте и вы, несчастные дети больших городов!

За вершиной начинается тропинка, ведущая к Сакрауле. Здесь все радует глаз — и полевые цветы, и привольно раскинувшиеся деревья, и кусты ломоноса, шиповника. То и дело встречаются на пути родники, ручейки и речки, которые несутся в низину, чтоб напоить страждущую землю.

Вдруг я услышал ржание и, оглянувшись, увидел двух всадников. Впереди на белом мерине ехал молодой уже мужчина в рубашке с распахнутым воротом и в соломенной шляпе, надетой поверх носового платка. Он проехал мимо, не взглянув на меня. Следом за ним ехала девушка в пестрой косынке и синих брюках.

Девушка тоже проехала мимо, но, сворачивая, вдруг придержала свою кобылицу, повернулась и пристально всмотрелась в меня.

— Ну конечно же, это вы! — радостно воскликнула она, когда я приблизился к ней. — Я вчера видела вас в поезде!

Я тотчас вспомнил ее. Когда я вышел из купе покурить, она стояла в коридоре и разговаривала с женщиной.

— Вы идете в Сакраулу? Дайте мне ваш вещмешок, я повешу его на седло.

— Нет, спасибо, он легкий, почти пустой!

Она убрала протянутую за мешком руку, снова с нескрываемым удивлением взглянула на меня и сказала:

— Могла ли я представить, что встречу вас здесь?..

Она была бледна. Вероятно, плохо спала в поезде. Синие глаза на худом личике светились детской непосредственностью.

— Моника! — услышал я голос мужчины.

Девушка натянула поводья и крикнула мне:

— Дорогу знаете? Следуйте по этой тропинке, она сама вас приведет.

— Моника! — еще громче позвал ее мужчина.

Девушка поспешила вслед за ним.

Необычное имя, подумал я, и совсем не вяжется с ее обликом, у нее типично грузинское лицо. Родители, вероятно, вычитали это имя в каком-нибудь иностранном романе...

От этой неожиданной встречи почему-то потеплело на душе.

Я несколько раз вслух повторил имя незнакомки. Идти стало легче, я уверенно пошел по указанной мне тропинке.

К Сакрауле я подошел с закатом солнца. В памяти моей она сохранилась старой деревушкой, в которой я жил в детстве. Конечно же, она не изменилась, думал я, и люди те же, и природа.

Домов еще не было видно, но я знал, что скоро доберусь до первого домика на окраине. А вот и вестник этого — старая молельня. На каменной крыше ее и сейчас растет папоротник. Кто построил крохотную молельню в этом тихом, пустынном месте, чтобы наедине беседовать с богом? Никто не знает, как звали того отшельника, остались только мшистые стены, напоминающие о его печальной судьбе.

Я перевалил через заросший диким орешником холм — и передо мной открылась Сакраула. По склонам вокруг деревни тянутся виноградники, зеленеет кукуруза. В низине течет горная речка, она тоже зовется Сакраулой.

Я не бывал здесь десять лет. Десять лет, вместивших в себя сомнения и тревоги столетий! Я остановился, окинул взором окрестность... Нет, ничего не изменилось, словно только вчера бегал я здесь беспечным, семнадцатилетним...

Я сразу узнал дом дяди Мераба. Он, как птичье гнездо, лепился к покрытому ельником склону. Еще немного — и я подойду к нему. Мысли мои оборвал топот. Мимо меня промчался на кауром молодой человек в красном башлыке. Концы башлыка развевались на ветру, словно крылья птицы. Он вихрем пронесся мимо и скрылся. Еще несколько минут я слышал, как стучат о землю подкованные копыта, и я уверен — они высекали искры.

Я сбежал по склону, ненадолго задержался у родника, жадно припав к нему, точно приобщаясь к благодати этой земли, а несколько минут спустя уже открывал калитку во двор Мераба.

Навстречу мне, раскинув руки, шел сам Мераб.

— Гела, как я рад тебе, наконец-то мы свиделись! — говорит он, волнуясь, и обнимает меня.

Между нами очень большая разница в возрасте, лет тридцать, если не больше, но он держится так, словно мы ровесники.

На балконе, опираясь на палку, ждет меня бабушка Кесо. Она очень постарела и, видно, с трудом ходит, и все-таки она кажется мне бодрой. Где-то в глубине потускневших глаз я узрел прежнюю, присущую ей жизнерадостность.

Кесо поздоровалась со мной так просто, словно мы расстались всего несколько дней назад. Для нее, вероятно, время течет иначе. Старики, на мой взгляд, кое в чем даже счастливые люди. Для них каждый прожитый день незаметно уходит в прошлое, сливается с ним. Я слышал, что Кесо была в молодости подлинным украшением званых вечеров и многие прекрасные юноши пытались заслужить ее внимание.

— Раз уж ты приехал к нам, мы тебя скоро не отпустим. Лето проведешь у нас, — радостно восклицает Мераб.

— Может быть, задержусь даже больше, — отвечаю я, — да вот боюсь одного, как бы я вам не надоел.

— Отлично, — доволен Мераб. — Останешься до

тех пор, пока не надоешь мне. Слово есть слово! — Потом добавляет с улыбкой: — Но я-то тебя хорошо знаю, не усидишь ты в нашей глухомани...

Мераб не знает, что сейчас я мечтаю как раз о простой, неприхотливой жизни. Неужели я затоскую по городу в этом удивительном уголке, где все дышит чистотой и доверием. Знаю, Сакраула не откажет мне в своей дружбе, потому что велика ее доброта и бескорыстна.

Наступают сумерки. Кесо рассказывает какую-то старую историю. Она то и дело забывает, что уже поведала нам тот или иной эпизод, и повторяет его заново. И не замечает, что мы с Мерабом давно уже не слушаем ее, а тихо беседуем друг с другом. Кесо больше говорит сама с собой, любовно перебирает в памяти прошлое, которое, чем больше времени проходит, кажется ей более близким.

Мераб принес лампу. За балконом ночь стала гуще. Кесо уже дремлет в глубоком старинном кресле. Она так и не заинтересовалась нашей беседой, но если бы даже и слушала нас, многое было бы ей непонятно. Более полувека не покидала она Сакраулу и, кто знает, быть может лишь смутно представляет себе, что за Сакраулой есть другие края и другая жизнь.

— Дайте человеку отдохнуть, устал ведь с дороги, — очнувшись на какую-то секунду, печется она обо мне.

Я с великим наслаждением вытягиваюсь в постели и тотчас гашу свечу. Темно. Тихо. В открытое окно видно черное небо с редкими звездами. Постепенно глаза привыкают к темноте, и я вижу перед окном ель.

Давно я не испытывал подобного чувства покоя и умиротворенности. Хотя бы ради этого стоило приехать сюда.

Боже, какая добрая тишина!

Я иду мимо дворов, почти сплошь покрытых райграсом. Откуда-то доносится шум реки. Все вокруг напоено ранним и прохладным солнцем. А солнце пахнет листьями и травой. Солнце... В далеком прошлом язычники считали тебя божеством. Я один из тех язычников, и я не могу удержаться и не пропеть хвалу тебе, дарующему жизнь и радость Земле, тебе, Солнцу, вол-



шебной силой которого напоены гроздья винограда, чувствую тебя всюду — в сладости созревших плодов в трепете лесов, в бодрящем шуме водопадов. Доброта твоя безмерна, величие твое вдохновляет меня и я не могу не воскликнуть: «Да здравствует Солнце!»

Навстречу мне идет девушка с огромным кувшином на плече.

— Эта дорога приведет меня к реке? — спрашиваю я.

— Конечно, — отвечает она, даже не взглянув на меня.

На девушку приятно смотреть — вся она так и светится красотой и молодостью.

— А кувшин у тебя, видать, тяжелый.

Девушка останавливается.

— Разве он тяжелый? — удивляется она.

— Красивый кувшин. Где купила?

— Да нигде. У меня отец гончар.

— Отец не сделает для меня такой же, если я попрошу? Покажи, где ваш дом.

— Да вон он, дом наш, у тополя, — протянула она руку. — Вон там!

— Как звать-то тебя, чтоб я знал, кого спросить?

— Ты спроси отца. Бежан зовут его. Каждый укажет.

— Ну, а тебя?

— Маквала¹.

— Странно... Что общего у тебя с ежевикой, — попытался я пошутить, но крестьянка холодно взглянула на меня и пошла своей дорогой.

«Ну и сердитая!» — подумал я, провожая ее взглядом и почему-то радуясь. И вдруг понял, чему я рад — крестьянка была первой, кого я встретил в то утро, и в ней я увидел вестницу новой жизни, которая ждет меня здесь, в Сакрауле.

Река в ущелье такая чистая и прозрачная, что видно ее каменистое дно. В запруде плавают рыбки величиной с палец. Конечно, ни на одной карте вы не найдете очертаний речки Сакраулы, ее не существует для тех, кто составляет географические атласы, но какого очарования лишились бы без нее эти края!..

¹ Маквали — ежевика (груз.).

Вода холодная, и я не рискнул выкупаться. По-
дожду, пока солнце пригреет землю и воду.

А ждать, вероятно, придется долго. Чтоб скоротать
время, я решил направиться к устью реки. Преодолев
пологий берег, я углубился в лес. Иду не спеша—впе-
реди еще целый день, день, который целиком в моей
власти.

Я иду по влажной, росистой земле, вдыхая пряный
запах палых листьев. Тихо. Солнечные лучи, скользя по
листьям, впиваются в себя алмазные росинки.

Я уже не слышу шума реки. Может, лучше вернуть-
ся, ведь если я собьюсь с пути в этом девственном ле-
су, еще не известно, сколько времени придется выби-
раться отсюда.

Я поворачиваю обратно, но чувствую, что иду не в
том направлении, в каком надо было бы идти. Лес стал
еще более таинственным и сумрачным... Но меня даже
раззадорила мысль о том, что я заблудился. Вот тебе
и первозданная природа! Лес, видимо, развлекается
тем, что я бессмысленно брожу от дерева к дереву, но
и я не в накладе — картины, самые неправдоподобные
и немыслимые, то и дело возникают в моем воображе-
нии.

Я переносюсь в далекое прошлое... Вернее, отрезок
времени, чудом сохранившийся с незапамятных веков,
неожиданно встает передо мною. На башне высокой
крепостной стены я вижу человека в шлеме, воору-
женного луком и стрелой. Цепляясь за растущие на мши-
стой ограде кусты, я с трудом взбираюсь на нее и ви-
жу огромную площадь с жертвенником, возле кото-
рого толпятся люди. Одетые в шкуры мужчины разде-
лывают тушу быка, принесенного в жертву божеству.

Заметив меня, мужчины оставляют свои дела.

— Кто ты и откуда пришел? — спрашивает меня
бородатый жрец.


— Я ваш потомок... — отвечаю я смело.

У всех на лицах — недоумение. Но тут первым при-
ходит в себя жрец и восклицает:

— Он говорит, что он наш потомок! Бедняга, какой
он бледный и хилый...

Все смеются, щупают меня, словно хотят убедиться,
что я — живое существо, а не привидение.

— Ты, наверное, легок, как одуванчик, — говорит



сочувственно один из мужчин. — В твоём теле вместо крови, вероятно, течет прохладная и белая жидкость.

Я оскорблен, я хочу, чтоб они поняли, что меня нечего жалеть.

— Прежде чем прийти к вам, я прошел долгий и нелегкий путь и видел многое. Древние добрые божества Осирис и Изида научили меня сеять зерно и выращивать лозу. В Урарту я выложил базальтом дно канала, на кораблях финикийцев избороздил океаны, сражался с пиратами Ясона, похитившими золотое руно...

— Не знаю, ничего подобного я не слышал, — говорит жрец.

— В Афинах я беседовал с Платоном, — продолжаю я еще смелее, — в Византии, Мцхета и Убиси расписывал стены храмов фресками. Я учил наизусть Гомера, Руставели и Данте, приобщился к открытиям ученых, которые расщепили атом, исследовали Луну и собираются исследовать Млечный путь. Я был очевидцем того, как исчезали страны, народы, а на их место приходили другие. Не раз сражался я на баррикадах, вместе с народом свергая старых идолов. Сегодня, наконец, завершён этот длинный путь, и вот я стою перед вами! — С этими словами я гордо оглядел всех.

— Да, ты прошел долгий путь. Но все это было после того, как мы, спасаясь, спрятались в этой крепости, — сказал жрец и добавил: — Скажи, ты можешь излечить больного?

— Кто болен?

— Вождь нашего племени. Мы принесли в жертву самому могущественному идолу корову и быка, но вождю не стало лучше. Луна семижды заходила и восходила — а он не смыкал глаз. Вокруг много целебных трав, но нет такой, чтоб вызывала сон.

Я вспомнил, что утром обнаружил в кармане снотворное. Вот уже почти год я не могу уснуть, не прижав на ночь таблетки.

— Ведите меня к больному! — сказал я смело.

Жрец пошел вперед, я последовал за ним.

В тени шатра в деревянном кресле сидел белобородый вождь. Голова его была покрыта листьями лопуха. Вокруг него на мураве сидели певцы и вполголоса напевали колыбельную. Жрец почтительно подошел к вождю, представил меня. Вождь поднял на меня бес-

смысленные от долгой бессонницы глаза и что-то прошептал.

Чтоб продемонстрировать свою волшебную силу, я произнес известные мне кабалистические слова и приказал вождю проглотить таблетку. Все смотрели на меня со страхом, затаив дыхание. Прошло несколько минут, вождь стал зевать и... вскоре захрапел.

Он проснулся только через три дня, велел привести меня, обнял и спросил, какое божество послало меня. Я с улыбкой ответил, что у меня нет связи ни с одним из божеств, что я обыкновенный человек, родился в сороковых годах двадцатого столетия. По выражению его лица я догадался, что он не понял, что значит двадцатое столетие. Я был вынужден подробно рассказать о себе — кто я и откуда пришел. Он выслушал меня внимательно, затем сказал:

— Жрец тебе уже говорил, и я повторяю: да, все то, о чем ты поведал, было после того, как мы укрылись в крепости. А пришли мы сюда намного раньше. Когда-то моя страна была могущественной, славилась своими городами, дворцами и богатством. И у нас были свои Платоны, и мы летали на далекие звезды. Ты меня всем этим не удивишь. Но потом все это исчезло, предалось забвению и теперь воспринимается только как сказка. Тебя, вероятно, интересует, как все это случилось? Очень просто — сначала люди на крылатых конях предали огню наши города и села и вынудили нас переселиться в другие, далекие края. Не успели мы построить новые города, посадить сады, как враг снова обрушился на нас. Он пустил на нашу землю ядовитый ветер и уничтожил жизнь на ней. Все, кто остался в живых, после долгих скитаний пришли, наконец, сюда. Мы бы и здесь не остались, но в один прекрасный день мы обнаружили волшебный источник, источник бессмертия — и остались здесь навсегда. Наши божества покровительствуют нам — и в народе нашем полное взаимопонимание. Не хотим мы былого величия, мы поняли, что значит быть счастливыми, и ни о какой другой жизни не мечтаем.

Вождь усадил меня рядом и продолжил:

— Вижу, ты — чародей и можешь совершить для моего народа много добрых дел. Бери себе в жены мою

дочь и оставайся с нами. — Сказал он это и приказал.
— Приведите Мзекалу!

Дочь вождя так лучезарна, что я не могу оторвать от нее взор.

— Отныне ты моя, прекрасная Мзекала! — нежно обнял я ее.

Она покорно склонила голову и последовала за мной в отведенный для нас шатер.

Люди здесь жили просто и непритязательно. Корысть не коснулась их чистых душ, на все они смотрели чистыми, добрыми глазами, радостно приветствовали восход солнца, созревание плодов, всходы пшеницы и лунный свет.

Я всем сердцем привязался к этим людям и искренне считал, что обязан помочь им, сделать их более счастливыми. А для этого, думал я, надо как можно скорее приобщить их к цивилизации моего времени.

Я брожу по лесу, развлекаясь подобными бредовыми мечтами.

Неожиданно слышу шум воды. Неужели близко река? Я спустился по склону и вышел на берег Сакраулы. Почти у самого берега по пояс в воде стоит лысый мужчина. Он приседает, ныряет, тотчас высовывается из воды и испуганно моргает глазами.

— Вода согрелась? — кричу я и, не дожидаясь ответа, поспешно раздеваюсь и лезу в воду. Мужчина с любопытством разглядывает меня. Он стоит, упершись худыми руками в бока, и почему-то закрывает то один глаз, то другой.

— Почему не купаетесь? Думаете, замутил воду?

Голос мой, казалось, отрезвил его, он снова нырнул, но вскоре снова встал и уставился на меня. Что он увидел во мне такого, что не может оторвать от меня взгляда? Наконец мы вместе вылезаем на берег и одеваемся.

— Волшебница эта наша Сакраула! — говорю я.

Мы идем в деревню. Мой спутник молчит. Широкая соломенная шляпа надета у него поверх полотенца.

— Вы знаете, — снова нарушил я молчание. — До того как мы встретились, я был в далеком прошлом, да-да, в предыстории, или же...

Я собирался пояснить ему, что такое предистория, но он опередил меня.

— Не беспокойтесь, — спокойно возразил это слово мне знакомо...

Признаться, я удивился.

— Так вот... Я видел людей и быт очень далекого прошлого... Неиссякаемый источник для антропологов и этнографов...

Мой спутник молчит.

— Я был у них первым визирем, и дочь вождя была моей женой. Знаете сказку о Мзетунахави? Так вот эта сказка о ней!.. Я люблю ее, но...

Спутник бросил на меня косой взгляд.

— Нас разлучили... Меня изгнали. Знаете почему? Я внес множество реформ, запретил гимны в честь солнца и земли, научил их изготавливать порох, учредил чины и ордена. Не ведал я тогда, что все это делал по наущению сатаны... Мои реформы очень скоро принесли плоды: жить стало невозможно, появились вельможи, размножились льстецы, обуреваемые манией величия. У меня же рождались все новые и новые планы, и вот, когда я однажды шел к вождю с окончательно разработанным проектом реформ, дорогу мне преградила толпа и с криком «Убирайся, откуда пришел!» вышвырнула меня... Так закончилось мое визирство и я потерял Мзекалу!

Мой спутник молчит. Лишь изредка подозрительно оглядывает меня.

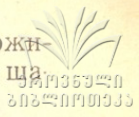
— Вы понимаете, какие несчастья обрушились на мою голову, а вы жалеете для меня простого слова сочувствия?

Наконец мы пришли в деревню. Прошли несколько домов. Я увидел свесившуюся через забор ветку персикового дерева, сорвал персик и жадно надкусил его. Тут мой спутник остановился.

—частливого пути! — пробубнил он и открыл калитку. Мне показалось, он боялся, что я последую за ним.

В глубине двора стоял дом с голубым балконом. В тени липы в гамаке лежала девушка и читала книгу.

— Какой чудесный двор, — сказал я вслед моему спутнику. Он не оглянулся и, мне показалось, даже ускорил шаг. На мой голос девушка подняла голову.



— Моника! — тотчас узнал я ее, но не стал дожидаться, пока она подойдет, повернулся и быстрым шагом удалился от дома.

Шел я по проселку и сам не понимал, почему все вокруг так радует меня.

Я набрел на это место случайно, когда шел вдоль берега. Этот старый, горбатый и узкий каменный мостик называют Чертовым мостом. Одной стороной он опирается на склон, где можно заметить нечто похожее на тропинку. Вероятно, когда-то здесь проходила дорога. Теперь все поросло лесом, а мостиком никто не пользуется, о чем нетрудно догадаться — мостик густо зарос мхом.

Недалеко от мостика есть пещера, в которой в непогоду могут укрыться разве что два человека. Она зовется Чертовой пещерой. Мне все кажется, что кто-то спрятался в ней и исподтишка наблюдает за мной... Может быть, в ней жили первобытные люди?.. В пещере, конечно же, сыро и тихо. Но это не обычная тишина. Что-то загадочное и страшное таит в себе эта тишина, вероятно потому и зовется эта пещера Чертовой.

В тот вечер я долго пробыл на берегу Сакраулы. Приятно было сидеть здесь в тиши и одиночестве. «Скоро стемнеет, — думаю я, — пора возвращаться», однако продолжаю лежать на берегу и слушать, как переговариваются в реке волны. Небо постепенно меняет окраску. Далеко в вышине застыло позолоченное солнцем облачко. Но вот и оно погасло, и все небо стало сиреневым.

Смеркается. Вдруг я заметил, как кто-то выскочил из леса, спрятался у пещеры и наблюдает за мной. Мы долго и упорно сверлим друг друга глазами, наконец мне это надоедает, и я направляюсь к мосту. Таинственный незнакомец снова юркнул в лес, но я успел заметить, что это — маленькое волосатое существо, похожее на человека. Я хотел было побежать за ним, но понял, что мне его не догнать. Я остановился. Он тоже, спрятался за деревом и выжидает.

— Я узнал тебя! — крикнул я почему-то радостно. — Ты не бойся меня, я твой друг!

Темнеет. И я отчетливо вижу только две фосфорические точки, светящиеся в глубине леса.



В честь моего приезда Мераб решил пригласить на обед ближайших соседей. Вероятно, он думал, что это доставит мне удовольствие. А мне, признаться, так хотелось остаться в деревне незамеченным.

Я утешал себя тем, что гости Мераба, несомненно, люди простые, непритязательные и нецеремонные.

Надежды мои оправдались.

Раньше всех пришел мужчина в черной чохе, с ясными и веселыми глазами.

— Вы нас очень обрадовали своим приездом. Это большая честь для сакраульцев, — приветствовал он меня и представился: — Бесо Швилдадзе, крестный брат вашего дяди.

Подобное обращение, признаться, несколько озадачило меня. Не насмеяется ли он надо мной, мелькнула мысль, но эти выпревшие слова были высказаны с такой непосредственностью, что я тотчас подавил в себе обиду.

Постепенно стали собираться гости. Мераб встречал всех радушно, особенно толстяка в синей летней рубашке с короткими рукавами, который, испуганно оглядевшись по сторонам, спросил:

— Что, еще не сажались за стол? Ну, тогда я пропал... Наверняка мне придется быть тамадой...

Все засмеялись. Толстяк снова боязливо оглядел всех и вдруг сам расхохотался. Я не спускал с него удивленных глаз — лицо его стало похоже на какую-то странную маску. Мясистые щеки сморщились в гармошку, один глаз застыл, как на картине или скульптуре. Позднее я узнал, что глаз у него искусственный.

— А это наш Амиран Дарсаидзе, — представил его Мераб. — Всеми уважаемый человек, в прошлом судья.

Дарсаидзе проявил ко мне внимание и даже побеседовал со мной, одобрил мои занятия наукой, вспомнил имена нескольких известных ученых и наконец произнес:

— М-да... В юности у меня была единственная мечта — стать ученым, но... Судьба, друг мой, судьба... Что поделаешь?..

Он вздохнул и, вероятно для того, чтобы доказать



мне, что передо мной — не провинциал, произнес на латыни какой-то афоризм. И уставился на меня своим единственным глазом. Конечно же, хотел посмотреть, какое он произвел на меня впечатление. Я не заставил его долго ждать и проговорил:

— Очень приятно встретиться с таким образованным человеком, как вы!

Мне показалось, что я угодил ему, и когда я совсем было убедился в этом, он вдруг как-то неестественно засмеялся. Да, странный был смех, говорил он не о радости, а скорее о печали. Но буквально спустя мгновение это опять был другой человек — он спокойно, как ни в чем не бывало рассказывал о какой-то руде, которую обнаружили в Сакрауле.

Дарсаидзе, наверное, еще долго и охотно рассказывал бы об открытиях в Сакрауле, но, к счастью, наше внимание привлекли новые гости — молодые люди и девушка с гитарой.

Позже других пришел празднично одетый мужчина, которого я встретил на реке. С ним была Моника в накинутом на плечи жакете, хотя день стоял теплый и солнечный.

Мераб, взяв меня под руку, подвел к ним.

— А вот и Эдишер... Эдишер Бебуришвили, мой ближайший друг, — сказал он, — я тебе рассказывал о нем. — Мераб собирался представить и меня, но гость опередил его:

— Мы уже знакомы.

— Да, да... познакомились... — растерянно проговорил я. — Несколько дней назад... Я, наверное, показался вам сумасшедшим...

— Нет, почему же... — ответил Бебуришвили так равнодушно, что я понял — он и в самом деле считает меня если не сумасшедшим, то уж наверняка чудаком.

Страх Дарсаидзе оказался не напрасным. Его и в самом деле избрали тамадой. Меня усадили между Эдишером и Моникой, но я, чувствуя какую-то неловкость, пересел.

Постепенно гости развеселились. Сначала на гитаре играла девушка в пестром платье, потом Бесо Швиладзе. Он пел о влюбленной в парня девушке, которая умерла, не вынеся его равнодушия.

Когда предложили тост за Эдишера, я встал со ста-

каном в руке, подошел к нему и пожелал долгих лет. Я почувствовал, что ему это было приятно. И ^{и все-таки} он усовестил меня:

— А сидеть рядом со мной вы не пожелали?

Я, не раздумывая, придвинул стул и сел между ним и Моникой.

— Ну вот и прекрасно! — Эдишер похлопал меня по плечу. Видимо, сказалоь выпитое вино — он заметно повеселел, стал более разговорчивым.

Моника вспомнила, как мы встретились на вершине.

— В тот день я поступила скверно... Не могу простить себе, что оставила вас одного в горах, в незнакомом вам месте.

Я собирался было возразить, что я вовсе не чувствовал тогда одиночества, но Моника продолжала:

— Не думайте, что я бессердечна. Поверьте мне, я каюсь... Если можете, забудьте тот день...

Она напрасно сокрушалась, но я не сказал ей ничего, боясь, что она будет оправдываться и каяться еще сильнее. Но как я ошибался! Моника вовсе не была сентиментальной, более того, она оказалась довольно прямым и искренним человеком. Никакого позерства и притворства или же, как говорили в старину, лицедейства. Наша беседа становилась все более непринужденной и непосредственной. И некоторое время спустя мне уже казалось, что мы с Моникой давние друзья.

Выпив несколько стаканов вина, я осмелел и произнес в честь Моника какой-то дифирамб. Это оказалось для нее такой неожиданностью, что она несколько минут смотрела на меня с нескрываемым удивлением.

— А вот этого не нужно... — погрозила она мне пальцем. — Не думайте, что я Дарсаидзе... Я наблюдала за вами и заметила, с какой иронической улыбкой слушали вы его речи...

Я попытался оправдаться, но Моника прервала меня:

— Кто знает, может быть вы и правы... Он порой так высокопарен, что невольно улыбнешься. Но вы не обращайтесь на это внимания. Он достоин уважения. И знаете почему? Мне кажется, у него было мало радости в жизни... А он никому не навязывает своих бед и печалей.

Она махнула рукой, глаза ее заблестели.

— Не стоит говорить об этом. Давайте лучше послушаем, как поют.

Веселье было в разгаре.

Тамада попросил всех замолчать, крикнув громко:

— Прошу внимания! Сияянс! Силенциум!

Он говорил долго, похвалил колхозного агронома, Сакраулу же почему-то назвал медвежьей берлогой и закончил свой тост следующими словами:

— Но ничего, мы в корне все изменим. Если будет необходимо, и горы перенесем в сторону. Не сегодня-завтра придут геологи, и следом за ними гул моторов оживит эти печальные места. Нихил супра деис лацес! Да, друзья мои, ни о чем, кроме этого, я не молю бога!

Все оживились.

— Что он несет... — прошептал я.

Моника поддержала меня:

— И в самом деле... Но мне почему-то кажется, это он перед вами выкаблучивается... Не замечаете, он все время пытается привлечь ваше внимание...

Моника смеется.

Гости разошлись поздно ночью. Долго еще возле дома Мераба не смолкал веселый гомон. Дарсаидзе плохо видит ночью, Эдишер держит его под руку и время от времени предупреждает:

— Осторожнее, здесь яма. Тебе, мой дорогой, нужны очки. В который уже раз я говорю тебе это.

— Да не помогут они мне, — вздыхает Амиран. — Говоришь так, словно не знаешь, в чем дело...

Мы с Моникой следуем чуть поодаль от них. Я слышу, как Эдишер говорит Амирану:

— Сегодня вы городили такую чепуху, я чуть было со стыда не сгорел... Ну хорошо, черт с вами, пусть гул моторов кажется вам соловьиной трелью, но скажите на милость, вот вы собираетесь перемещать и наши горы, так, если это не секрет, скажите, куда и как вы собираетесь их переносить?..

— Это поэтическая фантазия, дорогой мой Эдишер, не более... — спокойно парирует Амиран.

— Боже милостивый, но и фантазия должна быть умной. А как же? — сердится Эдишер.

— Напрасно ты нервничаешь. — Амиран по-прежнему спокоен. — Я ведь знаю, что бы я ни говорил,



даже самое-самое умное, ты все равно назовешь меня невеждой.

Моника с трудом сдерживает смех и шепчет мне:

— Не обращайтесь внимания. Они скоро помирятся. И еще знайте, когда отец сердится, он всегда переходит на «вы».

Мы подходим к дому Эдишера. А мне так не хочется расставаться.

— Грешно в такую ночь сидеть дома! — обращаюсь я к Монике и добавляю: — С удовольствием пошел бы на Чертов мост. Может, снова встречу его...

Моника улыбается:

— Вы говорите об этом так серьезно, словно в самом деле верите в существование бесов.

— Как мне не верить, когда он недавно повстречался мне! — На сей раз я говорю вполне серьезно. — С незапамятных времен люди встречали его, неужели все ошибались? — Я даже разозлился на то, что она сомневается в моих словах.

— Очень приятно было провести с вами вечер, молодой человек. Заходите, если найдете свободное время... — прощается со мной Эдишер.

Моника протягивает мне руку и, словно извиняясь, говорит:

— Так вы пойдете на мост? А нельзя и мне как-нибудь пойти с вами? Не бойтесь, я не спугну вашего друга...

У нее такие холодные пальцы...

Едва я попрощался с ними, как у меня тотчас отпала охота бродить ночью. Я опустил на землю там же, у обочины. Тихо... Слышно, как стрекочут цикады. Стрекот этот почему-то усиливает ощущение тишины и грусти.

В доме Моника зажгли лампу. Желтое окно в ночи тоже навеивает тоску. И я не хочу смотреть на это окно.

Я встал и машинально направился к реке. Дошел до моста. Сел. В глубине реки мерцают звезды. Кажется, что это те самые звезды, которые не уместились на небе и посыпались на дно реки. Я слышу шум воды, и мне кажется, что это не волны шумят, а звезды шепчутся.

Эгей, вы, казалось бы, рафинированные, а на самом деле бездушные и бессердечные графоманы, вы, наверное, поджав губы, скажете, что это избитый литератур-

ный пейзаж! Ведь именно так вы и скажете. Но говорите что вам угодно, я и не стремлюсь заслужить ваше признание и жонглировать словом, которое вы считаете новым, а на самом деле оно давно смердит. Да разве способны вы так же просто и с такой же теплотой говорить о вечности или о миге, как произносят молитву верующие или же произрастает в поле трава! Если я сейчас вспомнил утонувшие в воде звезды, то потому, что это—воспоминание моей прежней, еще безгрешной молодости.

С реки неожиданно поднялась белая тень и направилась к лесу. На плечах — белая туника, ветер треплет распущенные волосы. Я боюсь спугнуть ее и шепчу: «Мзекала! Это я, твой супруг...»

Она не слышит моей мольбы. Идет по тропинке и скрывается в лесу. И в тот же миг появляется мой бесенок. Сидит и смотрит на меня.

— Слушай, я рад видеть тебя! — кричу я ему. — Ты не бойся меня, я ведь с детства мечтал подружиться с тобой, много слышал о тебе. Не ты ли заплетал гриву лошадям, да в такие тонюсенькие косички, что любая девчонка позавидовала бы? Знаю и то, что швыряешь ты камушки в идущих ночью людей, но так, чтоб не попасть в них и не сделать больно. Упадет ни с того ни с сего перед человеком камушек, вздрогнет он в страхе. А я знаю, что ты делаешь это не со зла, а просто так, чтоб позабавиться...

Он упирается подбородком в свои волосатые ручки и не спускает с меня беспокойных глаз.

— Я очень хочу показать тебя одной девушке. У нее необычное имя. Представь себе, она не верит, что ты существуешь. Говорит, тебя придумали деревенские жители. Что с нее требовать, она ведь выросла в городе!

Он молчит, но не спускает с меня глаз.

— Отец ее рассердился на тамаду, у которого голова забита латинскими афоризмами и который ждет каких-то геологов, которые перенесут эти горы в другие места. Но ты будь спокоен, никто не посмеет тронуть твою пещеру. Он, болван, не понимает, что если ты покинешь сакраульский лес, то здешними местами завладеет Микел-Габриэл¹!

¹ Ангел смерти.



Он слушает меня внимательно.

— А теперь мне надо прощаться, — говорю я, человек, и мне надо спать под крышей. Ну, будь здоров!

Бесенок встал и помахал мне лапкой.

Когда я, пройдя несколько шагов, оглянулся, он был уже на середине моста и радостно прыгал на месте. Чему он радовался, не знаю...

Я каждый день хожу на реку. Подойдя к спуску, я еще издали вижу Монику. Она дожидается меня у калитки.

— Пошли? — вместо приветствия говорю я.

— Пошли! — отвечает Моника, срывается с места, бежит вперед, пробежав небольшое расстояние, останавливается и дожидается меня, размахивая в воздухе жакетом, с которым она не расстается.

Моника и сегодня не плавает, сидит на берегу и смотрит на меня. Ей нравится, как я плаваю.

— Еще! Еще! — кричит она, подбадривая меня и радуясь как дитя, и я самозабвенно плыву от одного берега к другому — благо Сакраулу нашу не назовешь широкой.

— Я завидую вам... — сказала Моника, когда я вышел на берег. — Вы такой здоровый и так красиво плаваете, я глаз не могу оторвать. Мне порой тоже хочется, но...

— А что может быть легче. Вот вы — а вот река!

— И в самом деле... Может, попытаться, а? — говорит она задумчиво. — Только вы не выдавайте меня отцу.

Она опускает руку в воду и после недолгого раздумья произносит:

— Отвернитесь, мне надо переодеться!

Она робко делает первый шаг. Я помогаю ей, и она заходит глубже. На ней голубой купальник, цвета ее глаз.

— Смелее! Смелее! — говорю я.

Вдруг она поскользнулась и невольно обхватила меня руками. Она смущается, и мне хочется приласкать ее и подбодрить. Но вместо этого я говорю ей сурово:

— Чего дрожите! Вода такая горячая, того и гляди закипит!

Она смотрит на меня, как виноватый ребенок, послушно опускается в воду по самое горло и шлепает ругаями по воде.

— А теперь хватит! — кричу я. — На первый раз хватит!

Она не хочет выходить из воды, дразнится. Тогда я хватаю ее, выношу на берег, сам же, не понимая почему, опрометью бросаюсь в воду и плыву без оглядки. Моника что-то кричит мне вслед, я поворачиваю и плыву к берегу, бегу к ней и падаю у ее ног.

— Мзекала, прекрасная моя Мзекала! — И не успевает она отскочить, как я целую ей ноги.

Моника стоит как громом пораженная.

— Гела! Вставайте... — слышу ее тихий голос. В этом голосе я не чувствую гнева, только лишь недоумение.

Всю дорогу к деревне мы молчим. Жарко. Душно, как перед грозой. Во весь голос поют цикады. Так, вероятно, мог петь и солнечный свет.

— Когда мы пойдем в пещеру?

— Хотите завтра? — говорю я, прощаясь у калитки. Мне так не хочется уходить...

Моника протягивает мне руку и неожиданно спрашивает:

— Кто такая Мзекала?

— Какая Мзекала? — притворяюсь я, делая вид, что не помню, что было несколько минут назад.

— Та, в ноги которой вы упали.

— Это же были вы... — шепчу я. — Забудьте, ради бога, забудьте! До сих пор не могу понять, что со мной случилось...

— Нет, вы скажите, кто она, — настойчиво просит Моника.

Я вынужден рассказать историю про вождя и его дочь.

— Как видите, она — мифическое создание, — говорю я наконец.

— Поверить вам? Хорошо... — Моника лукаво смотрит на меня и смеется...

Открыв калитку, она оборачивается ко мне:

— Смотрите, завтра не опаздывайте!

Я слоняюсь по комнате, выхожу на балкон, возвращаюсь обратно. Мераб сидит в углу и зашивает подпру-

гу. В дверях гостевой комнаты в кресле сидит Кесо и дремлет. Я на цыпочках прохожу мимо, но у нее отличный слух, она поднимает голову, почему-то, несмотря на сумерки, затеняет ладонью глаза и спрашивает:

— Кто это? Гела, сынок, ты?

— Я помешал вам, извините...

— Какое там, сынок. Я просто сижу себе, а вообще-то мне отдыхать и не следует. Когда я не дремлю, нет-нет да и вижу мир вокруг, поговорю с людьми. Еще день-другой — и придет ко мне вечный сон...

— Не говорите таких слов, да вы сто лет проживете, — говорю я с напускной бодростью.

— А ты думаешь, мне меньше? — спокойно отвечает Кесо. — Пока, наверное, не пришло мое время, иначе вспомнили бы обо мне там, наверху. Земля свое возьмет, сынок.

— Какое отношение имеет к вам земля! — Мне хочется сделать старушке приятное, подбодрить ее.

— Ну, не говори... — качает она головой. — Земля ко всем имеет отношение... Слышал про царевича, который искал бессмертия? Нет? Так слушай, как дело было...

Я вынужден придвинуть к ней стул и сесть.

— Я была ребенком, когда мне рассказала эту сказку няня. Было ли это иль не было... Так, сынок, начинаются все старые истории... Было ли это иль не было, но что могло быть лучше бога... — И Кесо рассказывает печальную историю о том, что всему приходит конец и земля приемлет все и всех.

— Вот как, мой Гела, закончилась история про царевича, — Кесо произносит это так бодро, словно считает большим счастьем, что и сама обратится в прах.

— Разве ее испугает смерти?! — Мераб тихо смеется.

— А что страшного в смерти, — тотчас отзывается Кесо. — Гниет тело, не душа! Да, останки предаются земле, а что может быть лучше, добрее и благороднее земли...

Ее морщинистое лицо и старые глаза спокойны.

Я вернулся в свою комнату. На полке рядом с камином лежат книги. Они принадлежали когда-то отцу



061935940
0020110333

Мераба и были написаны людьми, любящими и понимающими человека. Пером в их руке двигали самые благородные чувства, они будоражили их, не давали покоя. В этих книгах — дыхание и тепло того времени. Сегодня я с грустью смотрю на пожелтевшие страницы, где каждое слово дышит покоем, как тихая колыбельная. И да простится мне то, что люди, писавшие эти книги, представляются мне наивными святыми. Они — вечность и все-таки прошлое, а я жажду услышать живое и правдивое слово моего времени. И пусть оно будет высказано не столь ярко и живописно, как это удавалось им, только бы оно снова будило во мне добрые и трепетные чувства.

Стемнело.

Из комнаты Мераба пробивается узкая полоска света, но вскоре и она исчезает. Свет горит только в моей комнате. В окне я вижу ель, на ветвях которой сверкают капельки дождя. У меня кончился запас снотворного, и я вынужден прибегнуть к испытанному средству: ставлю лампу на стул у изголовья и начинаю листать скучнейшую книгу. Я знаю, что вскоре усну.

Но лампа предательски мне изменяет. Пламя постепенно бледнеет, фитиль начинает потрескивать, затем пламя дрожит и наконец гаснет. В тот же миг в окне исчезает ель. И очертаний комнаты не видно — лишь ночь вокруг да шумит дождь.

Где-то далеко-далеко переговариваются в реке волны.

Перевод В. РОБАКИДЗЕ

МАТЕРИ

О чем ты мечтаешь в преддверье заката:
О поле, где в детстве босой догоняла рассвет?
О сне безмятежном, что, может, приснится

когда-то

Тревожному сну твоих осенью тронутых лет?
А может, в ответ на томительный страх за меня
Мой голос поет тебе в хоре осеннего дня?
Пока я владею мятежной таинственной силой
Ломать свою сущность, меняя обличья и лица,
Пока я не тень над твоею могилой,
В каком из желаний твоих воплотиться?

* * *

Вопросы всюду: в целом и в частице.
Вопрос в самом ответе затаён.
В одном вопросе два других томится.
Рабы вопроса — разум, явь и сон.
К ответам ключ — загадочного нрава,
Он прячется в легендах древних лет,
Но как бы ни звучал ответ лукаво,
Вопрос всегда перехитрит ответ.
Плывет корабль навстречу черным грозам.
Блуждает мысль в тяжелой мутной мгле.
Пока не примирю ответ с вопросом,
Я буду жить упрямо на Земле.

СНЕГ



Этот снег — не только

О. Челидзе.

Я, примостившись у окна природы,
Пытаю взглядом необъятный мир.
Но снова отвлекли меня заботы —
Я пропустил тот долгожданный миг,
Когда явился ты унять печали,
Благословить меня, мой добрый снег.
О, как, ты угадал в туманной дали,
Что без тебя мне больше жизни нет?

Зимой прошлой тихо и несмело
Ты с женщиной пришел в желанный час,
Когда в мои заветные пределы
Никак не открывалась дверь без вас.
Та женщина, что на тебя похожа,
Которую мне не забыть вовек,
Ушла, и ты уйдешь за нею тоже,
Наивный, беззащитный, чистый снег.
Уйдешь опять, обманутый весною,
Которая тебе готовит суд.
Те, кто пленен твоею белизною,
Тебя однажды грязью назовут.
Ты помнишь, как тогда, лишив надежды,
Ту женщину обидел тусклый взгляд.
Она сменила белые одежды
Безвременно на траурный наряд.
Неблагодарность, пуще всех печалей,
Мир наполняет черной пустотой,
Но каждого из нас хоть раз венчали
С невинной белоснежной чистотой.
И не живем ли мы под этим небом
Для этого единственного дня,
Во имя женщины, во имя снега,
Которые уходят от меня?
Убиты незаслуженной обидой,
Они воскреснут парой голубей
И полетят в небесную обитель,
Все чище становясь и все белей.
Они воскреснут облаком, туманом,

Ладонями на плечи лягут мне,
Та женщина, что не живет обманом,
Тот снег, что доверяется весне...
И снова сыплет снег, еще моложе,
Еще доверчивей на этот раз,
А женщина, что на него похожа,
Не сводит с мира изумленных глаз.
Проходит вечность. Множатся обиды.
И тает снег, и пара голубей
Летит опять в небесную обитель,
Все чище становясь и все белей.

* * *

Стада ночей паслись и ночь, и день,
В твоих полях топтали синеву.
Придуманное счастье — только тень:
Не схватишь ни во сне, ни наяву.
Притих застолья вязкий, терпкий гул,
Плетутся из домов стада гуляк.
Кого ты снова в жизни обманул
Придуманной беспечностью, чудак?
К тебе приник любимый женский лик,
Придуманный, обманутый, чужой,
И рушится тот город, что возник
Из кирпичей, придуманных тобой.
Разгневайся, швырни, как камень, ввысь
Страх перед тем, чего на свете нет!
Стань истинным и больше не двоись,
Отважным и нагим приветствуй свет!
Иссохшая земля зовет дожди,
Зачем ей твой сухой тоскливый смех?
Ты лучше со слезами к ней приди
И выплачь то, что прячешь ото всех.

* * *

Памяти Терентия Гранели

Вселенная — большой холодный двор,
В котором день и ночь толпятся люди.
Никто не может выйти на простор,
Сбежать от стужи и от горькой сути.
Никто не может утолить хоть раз
Святую жажду поломать преграды,

Увидеть свет, и даже в смертный час
Душе и плоти здесь остаться надо.
Тут мертвым и живым — одна цена.
Тут зло без меры и добро без веса:
На сцене вечности идет одна
Старинная заигранная пьеса.
Ты тоже с ними? Шум и суета,
А ты хмельной поешь им для потехи —
Надели на тебя, как на шута,
Фальшивые актерские доспехи.
Я не свожу с тебя усталых глаз
И вижу: ты греха отведашь рад бы,
Я увожу тебя в который раз,
Но ты приходишь в этот двор обратно.
Не нужно мне ни песен, ни гвоздик,
Ни этого скупого небосвода —
Я все отдам за тот священный миг,
Что вырвется отсюда на свободу.
Не знаю, сколько мне осталось лет
Смотреть на свет, но я до смертной тени
Ту женщину люблю, которой нет
Под этим небом и на этой сцене.
Проходят годы. Вижу: до сих пор
Стоит декабрь. Холодная погода.
Вселенная — большой закрытый двор,
Где заперты снаружи все ворота.

* * *

Ворвалась в день растерянная ночь,
И впереди секунд бегут минуты—
Смешалось все, плывут куда-то прочь
Часов и дней бесформенные груды.
Подлили мрак в голубизну небес,
Закатом алым землю пропитали.
Белесым стал зеленогрудый лес.
Растаял желтый ветер в мутной дали.
Зачем я здесь? Как долго ждать конца?
И было ли начало для отсчета?
А что это за время без лица,
Без памяти и без мечты о чем-то?
Здесь в ураган — ни тени ветерка.
Здесь в дождь не упадет ни капли с неба.
Меня зовет никто издалека,



И я иду испуганно и слепо.
 Какой я груз несу, не знаю сам.
 Что с ним дойду до цели, я не верю,
 А вдруг я не иду, а где-то там
 Застыл, прикованный к тяжелой двери?
 Дрожат, как струны, издавая стон,
 То подземелье, то земля, то звезды.
 Ждет путника напрасно фаэтон
 За речкой у разрушенного моста.
 Нет никого. Неужто человек
 Я здесь единственный, но я ли это?
 Закрылось небо черной пленкой век,
 Отрезав ночь от мира и от света.
 И мертвый, все еще не умер я.
 Гниют деревьев каменные трупы.
 На грани жизни и небытия
 Чего-то жду бессмысленно и тупо.

* * *

Ночь притаилась, но ждет чего-то звезда
в окне.
 Идет в безмолвии незнакомец всю ночь ко мне.
 Предутренний туман его с пути не сбил,
 Но ждать, и ждать, и ждать едва хватает сил.
 А вдруг дорога длиннее жизни, а жизнь, как миг?
 И ожиданьем, как укоризной, томится мир.
 Смывает мутный дождь прозрачный лик звезды.
 Зачем ведут ко мне усталые следы?
 Откуда знаю я так же четко, как вижу свет,
 Что незнакомец идет навстречу мне много лет?

* * *

Но есть ли то, чего для зренья нет?
 Кто видел мир, невидимый для глаза? —
 Незримой сути контуры и цвет
 Не выдали себя еще ни разу.
 Как тайна прячется за тенью слов
 И как томится за тревожным взглядом?
 А где ее обитель или кров:
 В бездонном небе или с нами рядом?
 Но если тайны в мире вовсе нет,
 То как дошел невидимо, без звука
 До нас щемящий чужестранный свет,

Зовущийся восторгом или мукой?
Что, наконец, волнение или мысль
Баяют пластику стиха и храма,
Которая упрямо рвется ввысь,
В гармонию небесного хорала?
Голубизна вокруг, над нами, в нас —
Что это? Наш предел или свобода?
А может, это сон, в который раз
Навеянный всевышним с небосвода?

СЛОВО

Где отыскать это слово одно?
Как написать его, произнести?
Что ни в одном словаре не дано —
Только оно меня может спасти.
Неразличимо, как тонкая нить,
Неуловимо, как свет или мрак,
Слово, в котором нельзя разделить
Корень, приставку и суффикс никак.
Слово, которое не объяснишь.
Можешь понять его разве на миг,
Если услышал вечернюю тишь,
Если душою к рассвету приник.
Долгим молчаньем прерву свой рассказ
И многоточием — в книге строку,
В паузе слово звучит каждый раз,
Только услышать его не могу.
Сколько истрепанных стареньких слов!
Что они помнят о юной любви?
Слово ищу среди мыслей и снов —
Не отзывается, как ни зови.
Где отыскать это слово одно?
Как написать его, произнести?
Что ни в одном словаре не дано —
Только оно меня может спасти.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Колеблется Земля по чьей-то воле,
Как маятник невидимых часов —
Бредут стада в дрожащем зыбком поле,
Качаются фигуры пастухов.



Колеблется Земля, и сумрак душит,
Уходит из-под ног земная твердь,
И дребезжат гробницы, камни, души,
И где-то шелестит призывно смерть.
Колеблется Земля, уже без меры,
Качая монументы тяжело,
Колбля их незыблемую веру,
Что им одним в бессмертье повезло...
Но что нам смерть? Пускай наш день на склоне,
Мы все вернемся в мир в какой-то миг,
В своем предсмертном, безысходном стоне
Услышав новорожденного крик.
Не плачь, что не успели мы с тобою
Друг друга полюбить. Смотри, вон там
Всея нашею несбывшейся любовью
Сияет чей-то новый синий храм!
Рассветы после нашего заката
Узор бессмертья вышьют в небе вновь,
Достанется кому-нибудь когда-то
Невыпавшая в жизни нам любовь.
Колеблется Земля, и утомленно
Из душных берегов выходит ночь.
Оставим на Земле двоих влюбленных
И тотчас же уйдем отсюда прочь.
Уйдем все вместе, раз мы вместе жили,
Возьмемся за руки, уйдем во тьму —
Нас навсегда не поглотит могила,
Мы все вернемся в жизнь по одному.

Перевод Ларисы ФОМЕНКО

Р а с с к а з ы

КВАСРОЛИА¹

РОДАМ не было и двенадцати лет, а уже вся деревня говорила — мол, у Парнаоза Монаселидзе растет дочка красавица — нет никого краше. И в самом деле, начиная с волос и кончая изящными ступнями ног — все было прекрасно в ней. Бывало, заслушается она, склонит голову, а потом взглянет исподлобья синими, как морская волна, глазами, и подумаешь, грешный человек, — хотел бы я быть тем счастливецом, которого полюбит эта девушка.

Медные, с золотистым отливом волосы, белоснежное, с легким розоватым румянцем лицо, точеный нос, крупные, детски припухлые губы. Да что и говорить! Повидал я много на свете, а такой красавицы не встречал.

Но дело было не только во внешности. Не знаю отчего, — то ли родители так ее воспитали, то ли природа так распорядилась, — но у Родам и характер был прекрасным. Она была как-то царственно величава, невозмутима, сдержанна. Ко всему относилась спокойно, как-то даже равнодушно, — внешне, конечно. Говорить не любила. Предпочитала молчать. Но замечала буквально все. И не было случая,

¹ Квасролиа — буквально «швыряющий камни», т. е. сумасшедший, полоумный.

чтобы она не заступилась за обиженного или притесненного. Но делала это по-своему. Бывало, чуть замет-но дрогнут ее красиво изогнутые брови, уставившись она на обидчика молча, укоряющим и, пожалуй, даже вы-сокомерным взглядом — мол, как это с тобой такое могло случиться, — и все. Вокруг воцарялись мир и согласие. Дни, недели, месяцы проходили так, что го-лоса ее не было слышно. Но всегда и всюду, где бы она ни была, все подчинялись ей, любовались ею, обе-регали ее покой.

Вам когда-нибудь приходило в голову подскочить к восходящему из-за горы солнцу и толкнуть или оскорбить его? Точно так же никто бы никогда не дерзнул досадить словом или поступком Родам. В гостях, бывало, сядет она где-нибудь в уголке, и тот уголок мгновенно превращался в центр застолья. Кто бы ни был тамада — молодой, ли, старый, — ежеминутно ог-лядывался на Родам. А в горе... Помню, оплакивали мы одного парнишку. Родные и близкие убивались, ко-нечно. Но когда в комнату вошла Родам, поднялся та-кой плач, будто только в ту минуту все окончательно убедились, что несчастного уже нет в живых...

Лишь однажды довелось мне увидеть Родам от души смеющейся. Наслышались про Родам супруги Сидамонидзе из соседней деревни, у которых был сын-жених. Парень окончил десятилетку, поступил в Кута-исский пединститут, прочили ему хорошее будущее. Ничего, кроме книг, его не интересовало. У Сидамо-нидзе дом был — полная чаша. Вот они решили, что Родам будет подходящей невестой для их парнишки, и послали сватов. Парнаоз был человеком мягким, уступчивым: не смог отказать почтенной семье. Назна-чили день смотрин, и вот к калитке Парнаоза подошли человек десять мужчин и женщин.

Был среди них и жених. Парень с виду, правда, ничего, но из тех, о которых говорят, ушел, мол, из де-ревни, но не дошел до города. Все на нем было новое, с иголки, — и брюки, и сорочка, и туфли. А дальше было вот что: гости вошли через калитку во двор. Парнаоз со всей своей семьей, стоя на балконе, ждал их. Родам стояла рядом с отцом — так же спокойно и невозмутимо, как всегда, будто не ради нее пришли эти люди. Гости только успели дойти до середины дво-

ра, как случилось нечто поразительное. Жених вдруг остановился как вкопанный. Покраснел, как маков цвет, повернулся и — бросился назад к калитке. Вам и гордость и краса Кутаисского пединститута! Бежал, ног не чуя. Растерявшиеся родичи бросились за ним. Увидев их, парень бросился в проулок. Вскоре он скрылся из глаз. Только его и видели.

И тут с балкона раздался звонкий девичий смех. Родам прикрыла лицо руками и, раскачиваясь, еле держась на ногах, безудержно смеялась. Отец с матерью в недоумении смотрели на нее. Родам повернулась и, продолжая смеяться, вбежала в комнату.

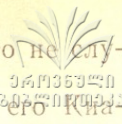
О свадьбе, конечно, нечего было и думать.

Потом мы узнали: парень был очень застенчивым, ни за что не хотел идти на смотрины, мол, не до женитьбы мне вообще, надо сперва институт закончить, встать на ноги. Чуть не силком притащили. И тут, увидев на балконе такую красавицу, он оторопел, растерялся. Что было делать бедным Сидамонидзе! Извинились перед Парнаозом и убрались восвояси. А неудавшемуся жениху так и не удалось окончить институт: началась война, его призвали в армию, и сложил он свою честную голову где-то на Северном Кавказе.

Эту историю вскоре все забыли. Забыла и Родам. Жила по-прежнему: училась, дружила со сверстниками и сверстницами, была душою и украшением всей деревни.

Среди ее сверстников, думаю, не было ни одного, который не был бы в нее тайно влюблен. Мы даже шутили, мол, любовь к тебе, Родам, как детская болезнь: заболает один, от него хворь перекинется к другому, и так без конца, пока не переболеют все без исключения. Родам в ответ только улыбалась молча. Шли годы, она повзрослела и еще больше расцвела. А сердце ее так никто и не смог завоевать.

Может, и был такой, но об этом никто так и не узнал. Так ведь тоже бывает. Все деревенские парни постепенно устроили свою жизнь: кто перебрался в город и обосновался там, кто обзавелся семьей здесь же, в деревне. Быть может, было бы лучше, если б Родам полюбила кого-нибудь из этих простых парней



и навсегда связала с ним свою жизнь. Но этого не случилось. Судьба жестоко обошлась с Родам.

Был у нас в деревне один парень, звали его Киазо. Имя хорошее, мужественное. Не знаю, кто там постарался — родители или крестные. А в остальном... Я часто глядел на него и думал, что природа обделила его всем, чем так щедро одарила Родам. Малюсенькое, с детский кулачок лицо, почти без подбородка, с низким лбом, бесцветными глазами-пуговками и сплюснутыми ноздрями, руки и ноги — несуразно большие. Обувь для него искали по всем городам Грузии, доставали с великим трудом. К тому же этот несчастный считал себя писанным красавцем. Бог знает, кто внушил ему эту глупую мысль.

И характер у него с детства был скверный. Даже не помню, сколько ему было лет, когда он хватил собственную мать по спине толстой суковатой палкой. Дело до милиции дошло. Но в милицию сама же мать его и побежала, мол, случайно все произошло, мы с моим сыночком души друг в друге не чаем. Пощадили дурака. А этот бесстыдник сидел себе на сацнахели¹, болтал ногами и улыбался. Да еще яблоко жевал. Вот тут-то и следовало разможжить ему голову, но... Отец у него был какой-то чокнутый. Все куда-то ездил, то в Тбилиси, то еще куда. Доставал деньги и всякую всячину неведомо какими путями, все до копейки приносил домой, а в другие дела не вмешивался. Поужинает, набьет желудок и завалится спать.

После той истории Киазо и прозвали «Квасро-лиа». Но в лицо его так никто не называл. Кто же свяжется с полоумным!

Киазо никого ни во что не ставил, ни с кем не считался, но всегда во все вмешивался и всем мешал.

Как-то стал он жаловаться своим родителям, мол, что вы за люди, учителя другим детям «пятерки» ставят, а мне «двойки», а вы молчите, не можете заступиться.

Отец молчал, сопел, обжираясь фасолью. Потом проговорил, пусть, мол, это дело мать твоя улаживает, лег на тахту и захрапел. А Макринэ, мать, на следующее же утро отправилась к директору школы.

¹ Сацнахели — давяльня.

— Не хотела беспокоить вас, уважаемый, но... Сын у меня единственный, разве материнское сердце стеснит, когда его единственного...

— Что случилось?

— Вроде бы... Да как вам сказать... Неправду он мне не скажет... Уж очень сердечные у нас с ним отношения... А получается так, что в его дневнике «пятерки» и «четверки» — такая редкость... Все больше «двойки». А вы спросите людей, уважаемый, я ли на колхозных полях плохо тружусь или от общих дел отлыниваю... И отец его... Вот водой осенью мельницу залило. Так поверите ли, до самого утра мой Диомидэ домой не вернулся. А пришел — лица на нем от усталости не было. Человек он молчаливый, правда, но сердце — золотое. Да. Вот мы и просим, уважаемый, чтобы это... Не надо моего сына притеснять... Он у нас единственный. А уж в долгу мы с Диомидэ не останемся.

— Ну при чем тут долг! Да что вы! Нет, я выясню, в чем там дело. Никто вашего сына притеснять не посмеет.

Не знаю, что там выяснил директор, но никаких «пятерок» и «четверок» в дневнике сыночка так и не появилось. А Квасролиа не очень об этом горевал. Пошумел, покляузничал и — на время успокоился.

Как-то в школе ставили пьесу. Главную роль захотел Киазо. Но выучить текст наизусть так и не смог. Запустил книгой в голову режиссера-десятиклассника, обругал его и сбежал. Пьесу поставили без него. Но в день представления, перед вторым актом, он что-то взорвал в клубе. Зал наполнился дымом и воплями перепуганных людей... Пришлось упечь Квасролиа в кутузку, но и оттуда его через неделю мать вызволила.

У правления колхоза построили баскетбольную площадку. Квасролиа сунулся было в секцию баскетбола. Приняли, рассудив, что детина с его ростом может пригодиться. Но он так и не смог усвоить правила игры. Все кричал и ругал других, почему, мол, мяч не даете. Терпение игроков лопнуло. Капитан команды, недавно вернувшийся из армии парень, попросил его покинуть площадку. Киазо запустил в него мячом. Капитан бросился было избить его, Киазо сдрейфил и —

наутек. Но тут же опомнился, остановился, выныт грудь, сжал кулаки. Тем временем капитана кое-как успокоили. На другой день Киазо, как ни в чем не бывало, вновь явился на игру, дескать, площадка общая, никто не вправе мне запретить. Разобиженный капитан ушел, и с того дня площадка опустела.

Окончив десятилетку, Квасролиа подался в город. Неизвестно, чем он там занимался. Но устроиться, по-видимому, так и не смог и вернулся в деревню. Здесь он бездельничал, пил, хулиганил. Дневал и ночевал в деревенской столовой. И его, «единственного сыночка», поддерживали родители. В особенности мать. Ох! Спросить ее, так другого такого красивого, доброго и воспитанного мальчика, как ее Киазо, на всем свете не было. Только вот «не везло ему в жизни с самого детства». А сам Киазо был весьма доволен и собой, и своей жизнью и никогда на «невезение» не жаловался.

Так вот, этот бездельник и стал преследовать нашу Родам.

Было в одном доме застолье. Киазо по своему обыкновению не давал никому и слова вымолвить. Что ему какой-то там тамада, или гости, или сами хозяева... Он — один на всем этом свете. Вдруг он встал, наполнил вином чайный стакан и крикнул через весь стол Родам — за твое, мол, здоровье!

В другой раз на его поступок никто бы и внимания не обратил. Но ведь покраснел, сукин сын, до корней волос! Все поняли, что Киазо не до шуток. И всех передернуло.

Родам увидела, как покраснел Киазо, но сделала вид, что ничего не замечает. Улыбнулась ему по-своему обыкновению спокойно, безмятежно и сказала: за мое здоровье, мол, выпьет тамада в свое время.

— А я пью сейчас!

Квасролиа и сам почувствовал, что покраснел, и это окончательно вывело его из равновесия.

— Тебе это не нравится?

— Почему же... Спасибо!

— Та-ак! — Квасролиа не стал пить, бросил стакан на стол, сел. Покрасневшее лицо блестело от пота, глаза злобно сверкали.

Весь стол замер.

— Пей уж!.. — примиряюще улыбнулась Родам.

— Нет. Подожду.

— Как хочешь.

Тут он вскочил и выбежал вон, сильно хлопнув дверью.

Выходку его как-то замяли. Застолье продолжалось. Опасаясь Квасролиа, Родам проводили домой несколько ребят. Но он уже не появился.

Однако с того вечера началось...

Негодник не упускал случая публично оскорбить Родам, сказать ей какую-нибудь гадость. Родам старалась обратить все в шутку. Но тот расхотелся все больше и больше. Чем больше терпела Родам, тем больше наглед Квасролиа. Он перешел уже на явные оскорбления. Девушка бледнела, закусывала губы. Как-то даже расплакалась. А потом произошла та ужасная история.

Был теплый и тихий весенний вечер. Деревенская молодежь собралась во дворе нашего клуба. Дневные заботы были позади, никто никуда не торопился, и все веселились от души.

Явился Квасролиа. Уселся напротив Родам. Некоторое время молчал. Потом поднял руку, требуя тишины. Все замолкли.

— Родам, я хочу спросить. И ты, слышь, скажешь мне правду.

Родам подняла голову. Неспешным движением оправила юбку, чуть удивленно уставилась на Киазо.

— Скажи-ка, ты меня боишься?

— Нет. — Родам еле заметно повела плечами.

— Значит, нет? Тогда скажи, что ты обо мне думаешь?

Родам ничего не ответила.

— Скажи, скажи... Разве ты не думаешь, что я в тебя влюблен и жить без тебя не могу?

Родам промолчала, оглянулась на остальных.

— Значит, нет?

Все молчали.

— Ты меня не обманешь. — Киазо уже тяжело дышал.

— Я тебя не обманываю.

— Вот так. — Киазо уже с трудом сдерживался. Глаза его сверкали, как у полоумного. — Зря стараешься.

Киазо глубоко вздохнул. Помолчал. Ребята чувствовали, что происходит что-то неладное. Но того, что произошло в следующее мгновение, никто не ожидал. Квасролиа крикнул что-то бессмысленное, зверем бросился на Родам и изо всех сил ударил ее кулаком в лицо. Потом ногой в живот. Родам упала, а Квасролиа бросился бежать.

Ребята бросились за ним. Настигли у моста, повалили наземь и стали избивать, ну, прямо насмерть. Если бы не люди, возвращавшиеся с полей, убили бы наверняка.

Но что из того? Квасролиа надо было убить тогда, когда — помните? — он собственную мать хватил палкой, а сейчас...

Той же осенью я увидел Родам вместе с ее отцом на кутаисском вокзале. Что с ней стало...

Рядом с Парнаозом шла седоволосая женщина с потухшими глазами, с изможденным от безысходной тоски и печали, морщинистым желтым лицом. Она даже не узнала меня. Ее холодные глаза равнодушно глядели куда-то вдаль. Ничего на этом свете ее уже не интересовало.

— Где ты был, Парнаоз?

— Эх, где я мог быть? У врачей.

— И что же?

Парнаоз безнадежно махнул рукой: — Ну, а ты куда? В деревню?

— Нет, к родичам. Вернусь завтра.

— Ну, будь здоров! Минуй вас всех, брат, моя участь.

САМУЭЛ

СИДЕЛ я как-то в дежурке. Вдруг — стук в дверь, и в комнату быстро вошла женщина средних лет.

— Здравствуйте! Моего Самуэла к вам определили, батона.

— Кого?!

— Самуэла. Моего сына.

— Ну так что же?!

— Сейчас я объясню.

Женщина испытующе посмотрела на меня, будто собираясь сообщить какую-то важную для нас обоих тайну. Затем подошла к окну, выглянула во двор обернувшись ко мне, как-то нерешительно сказала:

— Будьте так добры, подойдите сюда на минутку, батано.

Я поднялся, недоумевая, подошел и выглянул в окно.

Возле угольного бункера стоял на солнце парень лет двадцати четырех. Широкоплечий, черноусый, с сильными руками, но... ростом, пожалуй, с пятиклассника.

На нем была серая, с широченным козырьком старая кепка, тесно облегающая широкую грудь сатиновая блуза, большие порыжелые солдатские сапоги. Парень стоял неподвижно, скрестив руки на груди и глядя куда-то вдаль. Выражение лица его было грустным, даже скорбным.

— Вот он и есть, батано, мой Самуэл. — Женщина тяжело вздохнула, опять изучающе взглянула на меня, потом медленно отошла от окна, опустилась на стул.

Я и сам отошел от окна. И не знал, что говорить.

— Сколько же ему, калбатано, лет?

— Двадцать четыре.

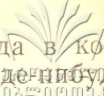
Женщина вытащила из рукава скомканный носовой платок, поднесла его к глазам:

— Не повезло нам, батано. Маленьким был как все... Жили в деревне, учился, резвился, шалил... А потом... Его сверстники выросли, каждый — как молодой тополь. Там и свадьбы, там и счастье, и все... А он таким и естался. Девушки, любовь, счастье — все это не для него. Жизнь проходит мимо. А на днях попросил, отпусти, мол, маменька, на работу в шахты. Думает, наверное, что вот, спустится в шахту, укроется под землей, и никто там, в темноте, его уродства не заметит. И за что нас судьба так наказала!..

У женщины скривились, задрожали бесцветные губы. И она вдруг горько заплакала, прикрыв глаза зажатым в кулак платком.

Я растерялся, не зная, как утешить женщину.

— Сейчас, когда в конторе все уладили... — жен-



щина постаралась взять себя в руки, — когда в конторе все оформили, он и говорит: я, мама, где-нибудь во дворе постою, а ты покажи меня начальнику издали, может, он и не захочет взять меня... такого. Чего же мы, говорит, будем зря надеяться...

И уже не в силах сдержаться, прислонившись лбом к стенке, она заплакала навзрыд.

Мне немалых усилий стоило успокоить эту женщину. Я обещал ей, конечно, что у нас никто ее Самуэла обижать не станет, что мы, шахтеры, народ добрый и справедливый, ценим людей по труду и характеру, а характер у Самуэла, видать, хороший. Женщина понемногу успокоилась, собралась уходить и на прощание протянула мне руку:

— Буду на вас надеяться, батоно!

— Будьте покойны!

Вот так появился Самуэл на нашем участке.

В тот день он ко мне не зашел. Наверное, проводил в деревню мать. А на другое утро спозаранку явился и ждал меня у дверей дежурки. Я с ним поговорил, а затем, распределяя задание на смену, определил его в помощники к старому крепильщику Отиа Месхи.

В тот же вечер я пригласил Самуэла домой. К еде он почему-то не притронулся, сколько я его ни уговаривал, а вина выпил два чайных стакана, солидно, по-мужски пожелав мне и всей моей семье счастья и благополучия. Вообще старался показать себя настоящим, всезнающим и всепонимающим мужчиной. Я решил подбодрить его, выбить из него последние остатки робости и неуверенности, и спросил:

— Как же это ты, Самуэл, вчера маму свою подослал проверить, не откажемся ли мы от тебя?

— Я ее не подсылал... — Самуэл покраснел, нахмурился, отвел глаза в сторону.

— Что?!

— Она сама хотела...

— Она не так мне сказала.

— Это она умеет — говорить не так. — Самуэл скорбно сдвинул брови.

— Эге-е! — Я встал, подсел к нему, обнял за плечи. — Ну-ка, Самуэл, милый, расскажи-ка мне все.

— А что рассказать?

— Твои что... отказались от тебя?

— Не-ет.

— А что же?

— Да ничего. Так...

— Гм!..

Уходя, Самуэл остановился в дверях и... опять покраснел:

— Тебе большое спасибо, дядя Герасим. И всем ребятам... Хорошо меня приняли..

Ребята и в самом деле отнеслись к Самуэлу хорошо. Никто и не подумал пожалеть его. Приняли как равного. Не обошлось и без обычных грубоватых шуток. Кто-то украл у него шахтерскую лампу и спрятал — мол, хочешь стать настоящим шахтером — поработай сначала в полной темноте.

— Мы все так начинали.

— Правда?! — простодушно удивился Самуэл.

Орудя лопатами, ребята старались перекричать грохот и лязг конвейера.

— Это тебе не кукурузу мотыжить, Самуэл!

— Закрой глаза. С открытыми глазами мы все герои.

— Ха-ха!

Самуэл повеселел. Скалил в темноте свои лошадиные зубы и работал за четверых. В конце смены старший Отиа чуть даже удивленно признался мне, что ему в жизни не приходилось видеть такого проворного и неутомимого малого.

Самуэл оказался на редкость сильным, ловким и упорным. Глазомер был у него — лучше и не надо. Сколько раз, бывало, на глаз прикинет расстояние от пола забоя до кровли и проведет по рудстойке пальцем — вот здесь, мол, пилите. Отпилят, приладят — и в самый раз. Он даже слегка гордился своим глазомером.

У Отиа Месхи нагрузка сократилась наполовину. Старик полюбил Самуэла как родного сына. Жалея его, бессемейного, одинокого, притаскивал ему из дома всякую снедь, даже вино. Но случилось так, что первую горькую обиду нанес Самуэлу тот же Отиа. Разумеется, не нарочно.

К нам из Тбилиси прислали молодых инженеров. Среди них была красивая девушка — Иамзе. Она про-

водила много времени в забое, наблюдая за нашей работой.

Как-то раз Отиа с Самуэлом, кончив работы, усталые, присели отдохнуть. Отдышавшись, Самуэл сказал, что с великой охотой выкурил бы папиросу. Сказал он это так, между прочим, прекрасно зная, что курить в газовом забое равносильно самоубийству. Может такой случиться взрыв, что наверху дрогнут дома.

Отиа сначала промолчал. Потом взглянул на Иамзе, перевел взгляд на Самуэла и проворчал:

— Хочешь взорвать всех нас? Себя ты можешь не жалеть, но вот с нами сидит Иамзе, такая красивая девушка...

И нужно было Отиа произнести эти глупые слова — «себя ты можешь не жалеть...». Услышав их, мы так и замерли. Ребята, закусив губы, молча, как-то виновато переглянулись.

Самуэл не проронил ни слова. Он поднялся и молча, не глядя ни на кого, ушел. Пропал в темноте.

В забое стояла мертвая тишина. Ребята старались не смотреть на Отиа, молча орудовали лопатами.

Сейчас мне трудно судить, поняла ли Иамзе все, что произошло в забое, или нет. По-моему, поняла. Мельком взглянула на Отиа, но не сказала ничего.

Отиа Месхи был человеком добрым и уравновешенным. Я не помню, чтобы он хоть раз вышел из себя. Но сейчас его прорвало. Швырнув куда-то в темноту топор, он вскочил и весь затрясся.


— Что вы все, с ума посходили, что ли? Что, мне уже и слова сказать нельзя?! Да подите вы!..

И ушел из забоя.

Но вскоре он исправил свою ошибку.

Шла у нас из нижней лавы в конвейерный штрек небольшая — метров восемь — сбойка. Очевидно, ее в свое время неважно закрепили, или крепление прогнило от сырости, но кто-то заметил, что две рудстойки треснули. Их надо было немедленно заменить. А заменить старые рудстойки — дело трудное и опасное: надо разрубить и вытащить старые, поставить и подогнать новые, прошить досками и забутовать кровлю, а тем временем кровля возьмет и обрушится. И поминай, как нашего брата звали.

На столь опасную работу никого в приказном по-



рядке не пошлешь. Тут нужны добровольцы. Я созвал совещание — в нем участвовала, между прочим, Иамзе, ведь она была прикреплена к нашему участку. Времени оставалось в обрез — сбойку могло завалить каждую минуту, — и я прямо, без обиняков спросил, кто возьмется за эту работу.

В таком деле большой опасности подвергается тот, кто первым приступает к замене рудстоек. Выбьешь старую, треснувшую рудстойку, — и над тобой висит сырая, неустойчивая, вся в глубоких трещинах, готовая обрушиться каждую минуту кровля, висят огромные глыбы породы, пока что-то не обвалилось, надо успеть подставить новую рудстойку. Мой вопрос, конечно, относился в первую очередь к крепильщикам — Отиа и Самуэлу. Они переглянулись. Самуэл явно волновался. Его глаза так и горели. Папиросу он прикончил в две затяжки.

Отиа вздохнул, но промолчал. Сидевшая рядом со мною Иамзе вдруг поднялась и быстро вышла из комнаты. Я понял, что не надо было приглашать ее на совещание.

— Отиа — человек семейный... Я пойду... — поднялся вдруг Самуэл. От волнения он вертел в руках свою серую кепку.

Воцарилась тишина. Ребята сидели серьезные, даже насупленные.

— Да, но... — Отиа пожал плечами. — Почему ты?

— Идите оба, — сорвалось вдруг у меня. Но я сразу же понял, что сморозил глупость.

— Да что ты говоришь! — загалдели ребята.

— Чтоб друг другу помешали, да?

— Вдруг что-нибудь случится, тогда?

— Да ты что, Герасим!..

— Братцы! — Самуэл просяще поднес свои большие руки к груди. — Что я, на колени должен стать, что ли? Там же ловкость нужна, а Отиа ведь... Братцы! Ну, чёго я особенного прошу!

— Ладно! Все! Решено! Мы с Отиа будем в конвейерном. А вы, братцы, посидите здесь, чтоб я никого из вас не видел в забое.

Самуэл взял инструменты. Подобрали подходящие рудстойки и приказали лесогонам подвезти их к ме-

сту аварии. Потом втроем — я, Самуэл и Отиа одели спецовки и спустились в шахту.



Сбойка освещалась электрическим светом. Самуэл ловко и бесстрашно приступил к делу. В одну минуту перерубил первую треснувшую рудстойку, вытащил и выбросил обе половины. Поднял и подставил новую рудстойку. Решив, что Самуэл не дотянется до кровли, мы с Отиа подошли ближе. Но рудстойка уже стояла твердо и надежно. Теперь надо было сменить вторую рудстойку.

— Уйдите! — коротко бросил нам Самуэл.

Мы с Отиа отошли. И тут я увидел ребят — они все были здесь же, в конвейерном штреке. Все — в спецовках и касках, готовые в любую минуту прийти на помощь. О моем приказе не помнил никто.

Самуэл так же ловко разрубил вторую рудстойку, вытащил и выбросил обе половины. Нагнулся было за новой рудстойкой, но почему-то застыл, поднял голову, внимательно посмотрел на кровлю.

— Что там такое?

Самуэл не ответил. Все так же упорно разглядывал кровлю. Вдруг сверху упал один небольшой кусок породы. Самуэл попятился было назад, но остановился. И еще один кусок породы мягко шлепнулся в почву.

— Уходи! — крикнул я во все горло. Отиа рванулся к Самуэлу. Но было уже поздно. Громадные глыбы породы с треском и грохотом полетели с кровли. Самуэл не успел отскочить.

Больше месяца пролежал Самуэл в больнице — у него оказался перелом голени. Когда выписался, он все еще прихрамывал, но его уже неудержимо гянуло в шахту, к ребятам — свидетелям его подвига.

Под Новый год Иамзе вышла замуж за приехавшего вместе с ней молодого инженера. На свадьбе не было человека веселее, общительнее и добрее Самуэла. Одним из первых провозгласил он тост за счастье молодых и закончил его словами: «Минуй вас всякие невзгоды и печали. Живите долго и счастливо и помните, что у вас есть друг, к которому вы можете обратиться всегда, везде, по всякому поводу».



ПАРТЭН Гочелашвили жил от меня приблизительно но в двух километрах. Для деревни — расстояние порядочное; к тому же местность наша неровная, холмистая. Не много найдется у нас охотников после изнурительного трудового дня прошагать лишних два километра. Впрочем, не знаю... Не знаю, как другие, но я, грешный, предпочитаю посидеть и передохнуть, чем тащиться черт знает куда безо всякой надобности.

Словом, по этой ли причине или по какой другой, но особенной близости и дружбы между мною и Партэном никогда не было. Ну, там, поздороваешься при случайной встрече, снимешь шапку, спросишь, что нового на белом свете, как домашние, каковы виды на урожай, — и все. Так получилось, что знакомы мы были сорок лет, и все эти годы прекрасно обходились друг без друга, жили каждый как умел. Я знал, что Партэн — человек честный и трудолюбивый — бедствовал, жена его часто болела, а сын рос, как все деревенские парни... Примерно столько же знал обо мне и Партэн. Я ни разу не гостил у него, да и он ни разу не переступил порога моего дома.

А вот какой случай произошел на третий год коллективизации. Как-то перед обедом стою я во дворе и что-то делаю. Жена моя накрывает на стол под ореховым деревом и торопит меня, чтобы я скорее мыл руки и шел обедать.

Кончил я свое дело, помыл руки и пошел к столу. Вдруг вижу: шагах в пяти от меня, у огорода, на траве лежит человек в одной нательной рубахе. Лежит, подложив руки под голову, и смотрит в небо. Приглядываюсь и узнаю... Партэна Гочелашвили.

Случись это где-нибудь в другом месте, я бы, наверное, молча прошел мимо него, даже не поздоровавшись, что зря человека беспокоить! Но в моем дворе?... Я даже слегка растерялся. Не знал, что и делать. Не придумав ничего лучшего, я кашлянул.

Услышав кашель, Партэн приподнялся, оперся на локоть, повернул ко мне лицо и улыбнулся. Даже сейчас я вижу перед собой его крючковатый нос, седые усы и редкие желтые зубы. Но он даже не поздоровал-

ся со мной, лишь махнул рукой и прохрипел, простуженным голосом — иди, мол, а на меня не обращай внимания.

Не забудьте — нам обоим уже далеко за пятьдесят. Так как же это — человеку в таком возрасте валяться в чужом дворе в одной нательной рубашке, не здороваться с хозяином и все такое прочее?

А жена моя стоит, тоже удивленная, и смотрит на нас. Я и решил пригласить Партэна к обеду.

— Нет, нет! — замахал руками Партэн. — Я ничего не хочу. Только что поел.

— Ну, так просто посиди за столом, пожелай нам счастья.

— Так просто — можно...

Он поднялся, пригладил волосы ладонью и пошел за мною. Кивнул моей жене и молча присел у стола на низенький стул.

Жена захлопотала, отобрала лучшие куски, положила на тарелку, придвинула Партэну:

— Кушайте, пожалуйста... Обед простой, мы вас не ждали... Но зато вино — как раз в вашем вкусе.

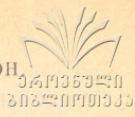
Бог знает, откуда моей жене было известно, какое именно вино в партэновом вкусе. Но гостя полагается приласкать, подбодрить, чтобы он чувствовал себя за твоим столом как за собственным.

Хлопоты и ласковые слова моей Эдукии не произвели на Партэна никакого впечатления. Он лишь просипел, не беспокойтесь, мол, мне ничего не надо. И все. Сложил свои волосатые руки на груди, устался в землю, как бык, и замер. Целый час сидел, не шелохнувшись и не произнеся ни слова.

Ну что тут делать? Я был голоден как волк. Мы с женой стали молча, как-то даже робко жевать. Наверное, это был самый невкусный обед в моей жизни. Когда я наполнил стаканы вином и произнес первый тост за гостя — Партэна, то — поверите ли? — в душе проклинал этого самого Партэна за чем свет стоит.

А он сидел, уставясь в землю, и молчал. Каково? Сидит человек за вашим столом, к еде не притрагивается, вина не пьет, молчит, но и уходить не собирается.

Я не выдержал, решил прервать это тягостное молчание:



— Ты бы без дела не пришел ко мне, Партэн.

— А?

— Не пришел бы, говорю, без дела.

— Да нет, какое там дело... Так зашел...

— Да ты не стесняйся. Если что, Эдукиа может уйти.

— Да нет, что ты, пусть сидит... Никакого дела, так зашел...

— Ну, смотри.

И — опять молчание.

Обед подошел к концу. Перед тем как встать из-за стола, я еще раз предложил стакан вина Партэну, но он и на этот раз наотрез отказался. Ну что же!.. Я отодвинулся, стал набивать трубку. Эдукиа собрала посуду, упрекнула, как и полагается, Партэна — не захотели, мол, разделить с нами обед, — пошла в дом.

Сидим мы с Партэном Гочелашвили под ореховым деревом, у пустого уже стола. Я курю трубку, он молчит, уставясь в землю. Он молчит, и я молчу. Но спустя некоторое время вдруг поднимает он голову и говорит:

— Помнишь, мы раньше разные церковные праздники праздновали? Вознесение, там, рождество....

— А как же! Помню, конечно. Ну, так что?

— Нет, ничего. Но сейчас другие праздники пошли.

— Ну, конечно, другие. Первомай, ноябрь, февраль, Новый год. А что?

— Да ничего... Просто так... Но я... должен извиниться перед тобой, Илларион. Не суди меня, ради бога. Ворвался незванный к обеду... Не совсем это, конечно...

— Да о чем ты говоришь! Пустяки.

— Так я пойду, ладно? А вообще... Словом, прощай!.. И не провожай, не надо.

Встал и пошел к калитке.

Собрался я кое-как с мыслями, махнул рукой и пошел в дом. Тут Эдукиа на меня накинулась, мол, не умеешь потчевать гостей, человек ни к чему за столом не притронулся, так и ушел... Но я видел, что Эдукиа не меньше моего была удивлена поведением Партэна.

Лишь на другой день узнали от соседей: помните,

в начале рассказа упомянул я о сыне Партэна. Так вот: накануне, оказывается, Партэн получил телеграмму: сдал экзамены и зачислен в кутаисский техникум. Вот и вся история.

МЗИЕ — ДЕВЯТНАДЦАТЬ, КЕТИНО — И ТОГО МЕНЬШЕ

КРОВАТИ Мзии и Кетино стоят рядом. Бывает, что Мзия беззвучно скользнет под одеяло, поправит подушку, закинет руки за голову и окинет младшую сестру быстрым, внимательным взглядом. Кетино сразу же догадывается, что у Мзии появились очень важные новости.

Так было и в тот вечер. Мзия выключила свет и легла. Кетино сунула под подушку «Десницу великого мастера» и поудобнее устроилась в постели.

— Была? — спросила она почему-то шепотом, хотя в комнате никого, кроме них, не было.

— Конечно.

— И что?

— Ничего. Дали перепечатать приказы.

— Понравилось им?

— Я думаю.

— А что потом?

— Ничего. Он пришел.

— Пришел! — Кетино восторженно присела в постели.

— Да, — важно подтвердила Мзия.

— Ну?

— Ничего. Прошел в свой кабинет.

— Расскажи, Мзия.

— Там были сотрудники, разговаривали по телефону. Во всем институте только его телефон и работает.

Мзия с недовольным видом смотрит на потолок.

— А потом?

— Ничего. Остановился в дверях.

— И что же?

— Постоял. Те ушли, он только тогда вошел в свой кабинет. Очень деликатный человек. Порвал ка-

кие-то бумаги, бросил в корзину. Прошелся по кабинету, вышел в коридор. Он не может усидеть на одном месте. Его всегда в коридорах разыскивают.

— А тебе сказал что-нибудь?

— Нет.

— Совсем ничего?

— Потом, когда вернулся в кабинет, сказал, чтобы без его разрешения я никому ничего не печатала.

— И что же?

— Ничего. Я напечатала только директору.

— И все?

— Все.

Сестры умолкают. Откинув голову, Кетино устремляет лукавый взгляд в потолок. И чему-то улыбается.

Сестры живут в однокомнатной квартире в старом доме. У них нет ни отца, ни матери. Мзие — девятнадцать лет, Кетино — восемнадцать. Мзия окончила среднюю школу, не попала в институт и устроилась машинисткой в НИИ. Кетино оканчивает десятилетку в этом году. Хочет поступить в университет — она любит художественную литературу. Если она в университет не попадет, то поступит куда-нибудь на службу. А там видно будет...

Большая, светлая, с большими окнами комната обставлена неплохо. Между кроватями полированного орехового дерева — низкий полированный же ночной столик. На нем, под ночником с розовым абажуром всегда лежат две книги. Сестры любят читать лежа. На противоположной стене, в большой черной раме — увеличенный фотоснимок отца с матерью. Мама и папа погибли в автомобильной катастрофе, в один день и час. Их мама никогда не работала, папа был честнейшим человеком. В левом углу — большой книжный шкаф, рядом с ним — письменный стол. Все эти вещи сестры приобрели в прошлом году — они уступили вторую комнату соседям. Не совсем даром, конечно. С какой стати... Говорят, это было не совсем законно, но... Сестрам та комната была вовсе не нужна, а Гвелесиани вздохнули свободней. Их в семье семь душ, а была у них одна комната. А кроме того, Мзия и Кетино еще слишком молоды. Если они в чем-либо

провинились, то — будьте покойны! — еще успеют купить свою вину. Честным трудом, конечно.

— А потом, Мзия? — Кетино повернулась к сестре.

— Ничего. Он сегодня ушел рано.

— Ты говорила, что он уходит позже всех.

— Сегодня ушел рано.

— Почему?

— Не знаю.

— Сказал что-нибудь?

— Мне ничего. В канцелярии — может быть.

— А ты не знаешь, что он сказал в канцелярии?

— Нет.

— Он потом вернулся?

— Нет.

Помолчали.

Кетино, глубоко вздохнув, вытащила из-под подушки роман Гамсахурдиа, задумчиво провела ладонью по обложке. Но читать не стала, и книга вернулась под подушку.

Человек, о котором говорят сестры — заместитель директора НИИ. Мзия в первый же день вернулась с работы восхищенная и призналась сестре, что у них замдиректора — «ну, просто замечательный человек!».

— А какой?

— Ну, такой... Седой.

— Седой?!

— Да. Но это ему очень идет.

— Совсем седой?

— Нет, только вот здесь, у висков.

— Расскажи.

— Что?

— Ну, какой он.

— Ну, как тебе сказать... Словом, приходи, увидишь сама.

— А меня пустят?

— Конечно!

Кетино помолчала. Потом махнула рукой.

— Нет. Догадаются, зачем пришла.

— Кто догадается?

— Да все. Нет. Потом.

Как-то раз зам пригласил Мзию в свой кабинет.

— Пригласил сам?

— Ну да!

— И что же?

— Ничего. Когда я вошла, он сидел за столом и сказал, чтобы я тоже села.

— Он с тобой на «ты»?

— Сначала был на «вы». Сейчас на «ты».

— Потом?

— Ничего. Стал спрашивать.

— Что?

— Ну... Какую окончила школу, как думаю жить... Какая у меня зарплата, это он и так знает. Потом сказал, если, мол, предложат платную работу, чтобы я взяла.

— Он так сказал?

— Да.

— А тебе уже что-нибудь предложили?

— Пока нет. О тебе сказал, что... Ну, чтобы я хорошо за тобой присматривала.

— Он меня знает?

— Конечно.

— Откуда?

— Наверное, кто-нибудь сообщил.

— Это не тетя Вера?

— Может быть...

— А он очень красивый?

— Очень!

Кетино глубоко вздохнула.

В тот вечер больше не говорили. Кетино скоро заснула. А Мзия спустилась в гастроном, купила яиц. Да не потому, конечно, что зам наказал ухаживать за сестренкой. Просто — Мзия старше на год. И всегда она, между прочим, заботится о сестре.

— А как же его звать? — спросила Кетино в один из вечеров.

— Батони Андро.

— Андро... Хорошее имя. А он старый?

— Да. Лет, наверное, пятьдесят.

— Пятьдесят?! — Кетино в изумлении присела в постели.

— Ну, не знаю... — Мзия задумалась. — Может быть, чуть меньше.

— Не говори, пожалуйста! Пятьдесят!

— А что? У него скоро будет внук.

— Откуда ты знаешь?

— Сотрудники сказали.

— Сотрудники! Много они знают, твои сотрудни-
ки!.. Послушай, Мзия: не может быть, чтобы ему было
пятьдесят. Этого не может быть!

— А сколько же?

— Не знаю... Этого я не знаю. Но — пятьдесят?
Нет! Я не верю.

Подумав про себя, Мзия решила, что Кетино, мо-
жет быть, права.

В тот вечер тоже больше не говорили. Кетино ска-
зала, что хочет почитать, и отвернулась к стене. А на
другой день Мзия вернулась с работы бледная, с за-
плаканными глазами.

— Мзия, что случилось?!

— Ничего.

— Мзия, я спрашиваю, что случилось.

— Ничего!

— Мзия!

— Дай воды.

Оказывается, в институте есть один человек — не-
кий Маглакелидзе. Ну, не некий, а старший научный
сотрудник, кандидат наук. Человек крайне грубый, не-
сдержанный. Все время кричит, со всеми спорит, скан-
далит, ну, просто ужас. И он принес перепечатать ка-
кие-то бумаги. У Мзии была очень спешная работа, и
потому она отказала Маглакелидзе. Конечно, очень
вежливо. Просто сказала, что не может взять ничего,
пока не кончит спешную работу, или же пусть они возь-
мут разрешение у зама. А Маглакелидзе так рассвире-
пел! Стал кричать, топтать ногами. Поверишь ли, Ке-
тино, у него все вот так вот тряслось. А какие говорил
слова! Господи! Понабрали вас, таких и сяких, со
всем обнаглели, все вам трын-трава, а зама своего
должна бояться ты, он твой начальник, а для меня он
пустое место, и все такое. Словом, очень грубый че-
ловек. Тут на шум из кабинета вышел сам батони
Андро. А Маглакелидзе как набросился на него — у
нас, говорит, не НИИ, а институт благородных девиц,
понабрали всяких, они всем сели на головы, и все та-
кое. Батони Андро не обратил никакого внимания на

вопли Маглакелидзе и очень спокойно сказал, что машинистки будут поступать так, как им в свое время было указано. Маглакелидзе выскочил в коридор и как хлопнет дверью!..

— И с тех пор ты все время плачешь?

— Нет. Я старалась не заплакать.

— Этот твой батони Андро... Почему он не принял меры?

— А что он мог сделать?

— Как — что? Выгнать этого Маглакелидзе из института. Или позвонить в милицию.

— Как это — выгнать! Что ты, Кетино!

— Никаких «что ты!». Я знаю, что говорю.

Мзия промолчала.

Вечером читать не хотелось. Выключили ночник. Долго молча лежали в темноте.

— Мзия, ты спишь?

— Нет.

— Чем же все это кончилось?

— Напротив нас какое-то издательство. Он туда и отнес печатать свои бумаги.

— Мзия, а почему нельзя его выгнать?

— Ну что ты, Кетино! Ученый, кандидат наук, скоро, наверное, будет доктором...

На другое утро Кетино сказала, что ей ужасно хочется прийти в НИИ и увидеть батони Андро.

Мзия задумалась.

— По-моему, сейчас неудобно.

— Почему?

— Скажут, вот, случилась маленькая неприятность и — сразу привела сестру.

— А что же делать?

— Ничего. Надо подождать.

— Слышишь, Мзия, ты этому Маглакелидзе никогда ничего не печатай, поняла?

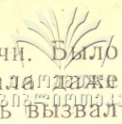
— Какое я имею право отказать ему?!

— Батони Андро же сказал!

— Он сказал: «без моего разрешения не печатать».

— А-а!

Следующие три или четыре дня о седом наме не было сказано ни слова. Потом Кетино получила двойку по истории. Она проплакала два вечера, потом взя-



лась за учебник и сидела за ним до полуночи. Было не до разговоров. Несколько раз Мзия засыпала даже раньше сестры. В конце декабря историк вновь вызвал Кетино, и на этот раз она получила «четверку». Кетино вернулась счастливая, перемыла всю посуду, натерла пол, а вечером, устроившись поуютнее в постели, устремила на Мзию лучезарный взгляд.

— Расскажи, Мзия.

— Что?

— Ну, о нем, о батони Андро.

— Позавчера вышел с заседания совета сердитый.

— У вас есть совет?

— Конечно. Он называется «ученый совет».

— И что же?

— Ничего. Там опять Маглакелидзе раскричался. Ну что за человек, господи!

— А чего он хотел?

— Не знаю. Если человек любит покричать, повод всегда найдется. Он, оказывается, и о том вспомнил, что я как-то отказалась печатать ему. Боже, что это за человек! А директор сказал, почему, говорит, мне не доложили. Вот это батони Андро и рассердило. Если, говорит, я не в состоянии решать такие пустяковые вопросы, то за что же я тогда зарплату получаю?

— Ты была там?

— Нет. Мне рассказала тетя Вера.

— А у него большая зарплата?

— Ух! Пятьсот или даже шестьсот рублей. Не знаю точно.

— Мама!.. А что сказал директор?

— Что его неправильно поняли. Вообще у батони Андро, чтоб ты знала, очень большое сердце. Его все берегут.

— Ну, дорогая, а у кого сейчас сердце здоровое!

На другой день Мзия прибежала из института возбужденная.

— Кетино, ты знаешь? Завтра у нас защита диссертации. Приходи. Народу будет много, никто тебя не заметит. А батони Андро будет сидеть в президиуме, я тебе его покажу.

— А платье?

— Господи! Вот в этом и приходи.

— Хорошо, Мзия, хорошо, но только...



— Что «только»?

— Ах, ничего, ничего. Приду.

Кетино пришла в НИИ к половине третьего. Мзия уже ждала ее, сбежала вниз, провела сестру в зал. Здесь уже было много народу. Кетино села в уголочке.

— Там полагается сидеть стенографистке, — сказала Мзия, — но у нас нет ее. Мне сказали, чтобы я записывала, если кто-нибудь скажет что-нибудь такое...

— Какое?

— Ну, критическое.

— А! Как же я одна буду?

— Да ничего. Я ведь здесь. А если тебе станет скучно, выйдешь вон в ту дверь.

— А... он?

— Я тебе его покажу. Он будет в президиуме.

И Мзия убежала.

Зал заполнился до отказа. Слышался прохот отодвигаемых стульев, громкий разговор, смех... Над столом президиума зажглась длинная неоновая лампа. В президиум друг за другом поднимались седые и плешивые мужчины в черных и серых костюмах; поднялась очень худая пожилая женщина в очках с птичьим лицом. Потом поднялась бледная от волнения Мзия и уселась у самого края стола. В президиуме не было ни одного симпатичного мужчины. Все они показались Кетино неприятными, сухими, даже злыми. А Мзия, видимо, вообще забыла о существовании Кетино — нагнув голову, она взволнованно слушала сидевшего рядом с ней и что-то подробно объяснявшего мужчину в светлом костюме. Неужели это и есть батони Андро? Ну, знаете, в таком случае Мзия просто... Да нет, не может быть, у него слишком уж длинный и некрасивый нос, морщинистая шея, а лет ему, наверно, не пятьдесят, а все сто. Но где же тогда батони Андро? А Мзия — хоть бы раз оглянулась...

В президиум быстрым шагом поднялся и сел рядом с Мзией молодой человек с темной, почти коричневой кожей и лоснящимися черными волосами в сером костюме. Бросив на стол пухлую коричневую папку и тут же раскрыв ее, он подобострастно кивнул седовласому, с каменным выражением лица мужчине,

сидевшему в самой середине стола. Тот поднялся и объявил заседание ученого совета открытым. Позже Кетино узнала, что седой человек с каменным лицом был директор института, а молодой и прилизанный — ученый секретарь.

Диссертацию защищал плешивый человек средних лет. Он очень волновался и раза два уронил на пол какую-то бумагу. Когда он нагибался, его лицо апоплексически краснело. Он подобострастно извинялся перед председателем, хотя тот не обращал на него никакого внимания.

На трибуну поднялась женщина с птичьим лицом и долго говорила что-то совершенно непонятное. Чем больше она говорила, тем шумнее становилось в зале.

Словом, было ужасно скучно. Кетино устала разглядывать сидящих в президиуме мужчин, но не нашла там не только симпатичного, но даже мало-мальски интересного лица.

Потом трибуну занял лысый морщинистый человек в синем костюме. Достав из кармана очки и вытирая их платком, он почему-то очень весело объявил, что первый оппонент, уважаемая Екатерина Онисимовна, почти исчерпала весь круг вопросов, связанных с диссертацией, и ему нечего добавить к сказанному. Тем не менее он позволит себе...

И пошло...

На трибуне лежали очень толстые книги в синих и коричневых переплетах. Оппонент брал то одну книгу, то вторую, перелистывал, заглядывал и говорил, говорил без конца. Опять перелистывал книги, опять углублялся в них, и снова говорил. Это продолжалось целую вечность. Зал гудел. Когда оппонент, наконец, закончил и, потный, бледный, взъерошенный, вернулся на свое место, публика, не дожидаясь разрешения, хлынула к выходу.

— Кетино! Как ты?

— Ничего.

— А я еле на ногах держусь.

Бледная от усталости, Мзия слабо улыбалась сестре и часто прикладывала ладонь ко лбу.

— Его сегодня нет. Ему, оказывается, стало плохо.

— Сердце?

— Да.

— Я устала, Мзия.

— Иди, родная. Я скоро приду.

Домой Мзия пришла, шатаясь от усталости. Кетино уложила ее в постель, дала чаю. Мзия сказала лишь, что Дидебулидзе получил два черных шара, но степень, конечно, ему все же присвоили, — и тут же уснула. Поговорили сестры лишь на следующий день, вечером.

— Как он?

— Ничего.

— А было очень плохо?

— Нет, не очень. Это с ним часто бывает. Но он полежит неделю — и поправляется.

— А кто тот длинноносый?

— Который?

— Тот, что с тобою разговаривал.

— А-а, этот... так, доктор...

— Я подумала, не этот ли батони Андро?

— Ну что ты! Вот поправится он, придешь и увидишь.

— Когда же это будет?

— Скоро.

— Эх!.. — Кетино махнула рукою, стащила с ночного столика «Десницу великого мастера».

Мзия понимала досаду своей сестры. Что хорошего в том, чтобы попусту просидеть два часа в душном зале. Но ничего, Мзия обещала сестре показать батони Андро и, если удастся, даже познакомить с ним, и Мзия обязательно свое обещание выполнит.

Но Кетино не суждено было ни увидеть батони Андро, ни познакомиться с ним. В среду заплаканная тетя Вера сказала Мзие, что ночью батони Андро скончался. Тщетно пытаясь сдержать рыдания, тетя Вера то и дело подносила к глазам мокрый от слез платочек.

У Мзии подкосились ноги. Еле дошла до стула, присела.

— Мзия, много у тебя работы? — спросила тетя Вера каким-то чужим голосом.

— Нет.

— Тогда вот что, дорогая: отнеси это объявление в редакцию. Напротив, знаешь? Вот... Если не примут,

позвоци мне оттуда. Или нет... Поднимись на третий этаж, спроси Тину Жоржолиани и позвони мне от нее. Вот деньги... Ах, боже мой, боже ты мой!..

Держа в руке объявление, Мзия вышла на улицу. Что ж, в жизни надо быть готовым ко всему. Но как сказать об этом Кетино? Не лучше ли хотя бы на время скрыть от нее эту ужасную весть...

ДЕВУШКА В БЕЛОМ

ОДНАЖДЫ в Кисловодске бродил я бесцельно по городу и занесло меня на железнодорожный вокзал. Спускаюсь по лестнице к перрону и вдруг вижу: у билетной кассы в очереди стоит загорелая, полноватая девушка в белом.

Никогда не заговаривал я с незнакомыми женщинами на улице. Но было что-то неизъяснимо пленительное и притягательное в ладной фигуре этой загорелой девушки. Я прислонился к перилам в выжидательной позе.

У кассы стояло человек десять, не больше. Очередь девушки подошла быстро. Она заглянула в окошко и улыбаясь протянула кассирше деньги. Взяла из протянутой руки билет, кивнув, отошла от кассы. «Если пойдет в мою сторону — обязательно с ней заговорю», — подумал я.

Но девушка, не взглянув на билет, сунула его в набедренный кармашек и медленно пошла к перрону. В ее движениях проглядывала едва заметная усталость.

Подойдя к длинной желтой скамье, девушка села, оправила платье на коленях и скрестила загорелые руки на груди. Ясно было, что она ждала поезда, а до его прихода ей было совершенно нечего делать.

С кисловодского вокзала электрички отходят каждые полчаса. Любоваться девушкой я мог еще минут двадцать—двадцать пять. Конечно, я мог сесть в ту же электричку и доехать до Минвод, но не к лицу человеку моих лет такое легкомыслие. А кроме того, летом в эти электрички набивается столько народу, что не продохнуть. И тут уж не до разговоров с прекрасны-

ми незнакомками. Нет, решил я, довольно и тех двадцати минут, которые даровала мне судьба.

На курортах каждый второй человек умирает от безделья, а бездельники, как известно, раньше других набрасываются на одиноких симпатичных девушек. Поэтому я совсем не удивился, когда мимо моей девушки, внимательно ее разглядывая, несколько раз прошли два парня в модных джинсах и пестревших иностранными надписями сорочках. Пройдут, пристально взглядываясь в ее лицо, повернутся — и в обратную сторону. Проходя мимо девушки, парень, что шел слева — небольшого роста, темноволосый и полный, — что-то говорил своему высокому, худому и светловолосому спутнику. Тот оборачивался и издали оглядывал девушку.

Так повторилось несколько раз. Разумеется, она заметила это. Но, не подавая виду, сидела по-прежнему невозмутимая.

Проходя мимо девушки в четвертый или пятый раз, парни вдруг решились. Быстро подошли к скамье и уселись — один справа от девушки, другой — слева. Темноволосый вытащил из заднего кармана брюк розовую гвоздику (чего только не увидишь на этом свете!) и улыбаясь протянул ей, что-то при этом говоря.

Девушка улыбнулась, но, тряхнув золотистыми волосами, решительно отказалась от цветка.

Очевидно, парни были не из стеснительных и робких. Теперь второй — высокий и худой — вытащил из заднего же кармана джинсов красную, как кровь, гвоздику и протянул девушке. На этот раз девушка еще веселее улыбнулась, но еще решительнее отказалась и от этого подношения.

Темноволосый бессмысленно теребил в руках гвоздику. Парни переглянулись. Поднялись, галантно раскланялись с девушкой и ушли.

Девушка осталась сидеть на своей лавочке. Спокойно поглядела на наручные часы, потом перевела взгляд на огромные вокзальные, висевшие в самой середине перрона, — для этого ей пришлось немного откинуть голову назад. Я стоял и думал о том, что мне редко приходилось видеть что-либо более привлека-

тельное, чем эта девушка со скрещенными на груди руками. Я мог бы любоваться ею до второго пришествия.

На курорте люди заговаривают и знакомятся друг с другом запросто. Если вы обратились с какой-то приветливой фразой к симпатичной женщине и вам ответили так же приветливо, можете считать, что заложена основа знакомства. Остается обменяться элементарнейшими формальностями вроде имени и фамилии. И вполне возможно, что вы проведете вечер в местной филармонии с женщиной, о существовании которой еще в полдень не имели ни малейшего представления. А если вы не любите музыки и вам порядком надоели наши несколько развязные конферансье, тогда вы с вашей новой знакомой смело можете пойти в ресторан. Такое случайное знакомство потом нередко длится годами. И, если верить опытным курортникам, подобные альянсы доставляют им много радости и удовольствия.

Если же вам не повезло и на вашу приветливую реплику ответили ледяным молчанием, не отчаивайтесь. Просто здесь ждут другого. Здесь верность. А на верность имеют право все. Ну, а вы лучше выпейте стаканчик нарзана, идите в парк, ждите, пока к вам самому не обратятся с приветливой репликой. Обязательно дождетесь.

Я торчал на вокзале и смотрел на девушку. А что было делать? Она отказалась от ухаживаний тех парней. Чем же я лучше них?

Ну и ладно! Спешить все равно некуда. А тут подойдет электричка, девушка поднимется в вагон, устроится, поезд тронется и — прощай, загорелая девушка в белом. Что ж, переживал я и горшие беды и обиды, переживу и это.

Пока я стоял и раздумывал, к скамье девушки подошел какой-то высокий и очень полный человек. Он был явно из Средней Азии: широкие, выдающиеся скулы, серое лицо, угольно-черные с узким разрезом глаза, а на гладко остриженной голове — пестрая тибетейка. Он тяжело присел на скамью, достал из кармана пиджака газету и, развернув и разгладив ее, стал читать.

Девушка выпрямилась,правила платье, — хотя, на мой взгляд, оно и так было в полном порядке, и чинно положила руки на колени.

Но это соседство продолжалось не дольше минуты. Вдруг с другого конца перрона послышались громкие крики. Там собралась целая толпа совершенно таких же — широкоскулых, серолицых и черноглазых мужчин в тюбетейках. Крича вразнобой и махая руками, они звали к себе соседа девушки. С истинно олимпийским спокойствием кивнув им,—причем лицо его сохраняло каменную неподвижность, — мужчина тяжело поднялся, не спеша сложил и сунул в карман газету,— это он, между прочим, вполне мог сделать на ходу, уже направляясь к друзьям, — и какими-то нарочно размеренными шагами пошел в их сторону. Там окружили его кричащей, галдящей, истоиво размахивающей руками толпой и стали говорить что-то, видимо, очень важное. Высокий несколько раз с достоинством кивнул, изобразив на лице полное понимание того, что так волновало соотечественников. Потом важно зашагал в другой конец перрона. Остальные, все так же галдя и махая руками, побежали за ним. Через минуту все они скрылись за зданием вокзала.

А девушка вновь прикрыла ладонью рот, зевнула, опять скрестила руки на груди и, прислонившись спиной к скамье, глубоко вздохнула.

А я.. Я уже мечтал о знакомстве с девушкой. Неудача давешних парней меня уже не пугала. Цветы-то они поднесли ей, да, но доставали они те гвоздики из задних карманов! Девушке уже это могло не понравиться. Да и кто знает, с какими словами они к ней обратились, какая у них была интонация, выражение глаз... В таком тонком деле все важно! Они не сумели понравиться девушке, вот и отказала она им в знакомстве. Но ведь это совсем не значит, что ей во всем подлунном мире никто не может понравиться и что она так и проведет всю свою жизнь в полном одиночестве. Почему бы мне не попытаться счастья?

Но как это сделать? Просто подойти и заговорить с ней? Я этого прежде никогда не делал, хотя и видел много раз, как делают другие и как просто, даже легко это у них получается. Меня, видимо, бог обделил этим даром.

Внезапно на перрон с ревом ворвалась электричка, и я даже вздрогнул от неожиданности. Через минуту вдоль перрона вытянулся и застыл длинный белый состав. Из вагонов повалил народ. Вокзал залило громким говором, шумом, смехом... Девушку я почти уже не видел, ее закрывали спящие взад-вперед люди. А когда толпа рассосалась, я был озадачен тем, что увидел: девушка вовсе не собиралась подниматься в поезд, она все так же спокойно и безмятежно сидела на лавочке. Правда, взглянула на свои часики. Потом поднялась, прошла перрон, вышла на улицу и спустилась в подземный переход, ведущий в город. Через минуту она вышла на той стороне и направилась к цветочницам, выстроившимся в длинный ряд у входа в филармонию. Здесь в любое время суток можно купить цветы. Понять поступок девушки было трудно. Я не понимал, зачем ей понадобились цветы и могла ли она купить цветы и успеть к поезду? Поезд здесь стоит всего пять минут.

Очень скоро выяснилось, что девушка и не думала уезжать этим поездом. Она подошла к пожилой, морщинистой цветочнице, продававшей огромные чайные розы, нагнулась, понюхала букет и с улыбкой что-то ей сказала. Та ответила, равнодушно махнув рукою. Все еще улыбаясь, девушка продолжала что-то говорить. Старуха удивилась, понюхала розы, усмехнулась и вновь махнула рукою. Девушка кивнула цветочнице и, повернувшись к вокзалу, поглядела на тронувшийся с места поезд.

Собственно говоря, в поступке девушки не было ничего удивительного. Здесь можно купить билет и уехать любым поездом до наступления следующих суток. Девушка, по-видимому, никуда не торопилась и могла уехать следующим поездом. У меня появилось достаточно времени, чтобы...

Я как-то сразу решил. Спустился в подземный переход и вышел к филармонии, на ходу убеждая себя в том, что если девушка отправит меня туда же, куда отправила тех парней, я и в самом деле могу последовать за ними — нанять такси и оставить девушку наедине с ее легкой усталостью и безмятежным спокойствием.

Девушка продолжала разговаривать с пожилой

цветочницей, обе чему-то улыбались. Я даже услышал их голоса — звонкий, молодой и хриплый, старческий. Я подумал, что моя попытка познакомиться с девушкой может не понравиться старухе. И я отошел на несколько шагов, чтобы не потерять девушку из виду.

Они разговаривали довольно долго. Я даже подумал, что они были знакомы и раньше. Поезд давно ушел, перрон успел опустеть и вновь заполниться ожидающими следующего поезда пассажирами. А они все разговаривали. Но вот, наконец, девушка нагнулась, выбрала из букета одну розу и показала ее старухе. Старуха степенно кивнула. Девушка расплатилась и, спустившись в подземный переход, вышла к перрону. Через минуту она уже сидела на своей лавочке.

А меня вновь охватили сомнения. Конечно, можно подойти к ней и попытаться заговорить. Не убьет же она меня в конце концов. Но, скажите на милость, что хорошего даже в самой вежливой, самой мягкой и утонченной форме отказа? Не верилось мне как-то, что те парни так уж равнодушно отнеслись к ее поведению. Они просто виду не подали... Но тут оказалось, что мне нечего было терзаться сомнениями.

В противоположном конце перрона показался высокий, стройный, смуглолицый парень. Он шел быстро, вытянув шею и высматривая кого-то. В то же мгновение девушка вскочила. Что-то радостно крикнула, махнула рукой и понеслась навстречу парню. Парень уже почти бежал. Встретились они как раз под вокзальными часами. Парень положил руки на плечи девушке и заглянул ей в глаза. Девушка смутилась было и оглянулась, но тут же поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. Взявшись за руки, они со счастливой улыбкой пошли к лавочке. Я даже не успел заметить, как чайная роза оказалась в руке парня.

Подошел поезд. Девушка и парень поднялись в вагон. Видимо, девушка купила в кассе два билета.

Авторизованный перевод

ПОЭТУ

Наверно, правда, что Великим Взрывом
рожден наш мир. В противоборстве сил
галактики летят, летит все то, что живо,
и то, в чем светоч жизни погасил
незримый Некто,

а точнее — вектор,
направленный откуда-то куда-то;
все разметав, он снова ждет возврата.
Любовь и ненависть? Добро и зло?
— Как странно...

Но ты сумей — и, чудо сотворив,
возьми два слова, — два куска урана,
соедини в одно — получишь взрыв.
Пусть все летит к чертям
в безумной круговерти:
ведь жизнь возникнуть может
лишь из смерти.

Гора пришла.

Проснись. Восстань на подвиг трудный.
Не медли, но и слишком не спеши.
Запомни: тот — поэт, каждую секунду
кто расщепляет атомы души,
из пустоты разомкнутых сцеплений
рождает ливни грозových частиц...
Пред ним стихии стали на колени
и всемогущий бог склонился ниц.

* * *

Очарованный странник, пришел я к тебе
и стою пред тобой на коленях.
Помоги мне, молю, в этой странной судьбе,
дай мне сил и пошли исцеленье.
Ртом, иссохшим от жажды, припав к роднику,

позабыв о страданиях и боли,
как дитя, я учился тому языку,
на котором тобой буду понят.
Много есть у тебя замечательных слов.
Я люблю, например, «генацвале», —
это значит: «Тебя заменить я готов
и в беде, и в печали».
«Шени чириме» — «горе твое мне отдай»,
«гетаква» — «перед тобой преклоняюсь»...
Я в других языках слов таких никогда
не встречал, хоть немало их знаю.
У тебя я узнал, что друг другу сродни
жизнь с огнем, как «сицоцхле» и «цецхли».
Да, гореть непрестанно все ночи и дни —
в этом смысл нашей жизни не весь ли?
Как во сне, повторяю я клятвы слова
и тебе присягаю на верность:
я отныне навеки с тобой, гетаква,
генацвале, меня не отвергни!

ИЗ МЕСХЕТСКОЙ ТЕТРАДИ

I. САПАРА

Весь век моя душа себе искала пару.
Жизнь вообще — у всех — искание души...
Я столько лет шагал к тебе, Сапара,
не понимая сам, куда спешил.
Когда впервые из-за поворота
взглянули мне в глаза
глаза твоих камней,
я вдруг увидел, как незримый кто-то,
подобный ветерку, стремглав бежит ко мне.
Отныне я навек тебе подарен.
Стныне ты навек в моей судьбе.
Так получилось: я, идя к Сапаре,
пришел внезапно к самому себе.
Теперь я на судьбу свою в обиде:
и впрямь, как можно было до сих пор

жить и любить, ни разу не увидев
Сапару, спрятанную в самом сердце гор?

...И вдруг мне вспомнилось: ведь это было здесь,
конечно же, совсем еще недавно:
столетий пять, или — от силы — шесть,
и мы сидели рядом... Как забавно:
спустя века вернуться вновь домой
и все найти, как прежде...

Неужели
когда-то здесь я вправду был прострелен
свистящею турецкою стрелой?

И вновь войдя сюда, держу в руках лучину...
Горит смола и тает в слезном блеске,
а на стенах, застыв в молчанье чинном,
колышутся и оживают фрески.
Нет, я не с вами, гордые Джакели!
Сюда входил я с молотком в руке,
здесь храм воздвиг, монахам строил кельи,
потом молился в радостной тоске.
Земля дышала свежестью весенней,
но в полутьме всегда казалось мне:
как две звезды, ведущие к спасенью,
глаза Христа горели на стене.

Среди камней лепечет и хлопочет
по-детски расшалившийся ручей,
и странная фамилия — Лапачи —
как выплеск наших дружеских речей.
И мы сидели, пили, ели,
вели беседы, песни пели...
Задумчиво молчали ели
и снисходительно терпели
и этот шум, и этот дым,
и даже то, что молодым
я снова стал, и был дурашлив,
твердил, что время вспять пошло,
что завтра будет день вчерашний,
за ним придет позавчера...
Нам было так тепло, светло,
мы: просидели б до утра

под треск веселого костра,
но кто-то нам сказал:
пора...

Разлился по ущелью черный холод.
Над ним, расправив парус, выплыл храм...
И был внезапно надвое расколот
поток времен: здесь — прошлое, а там —
там, наверху, как замысел поэта,
плыла Сапара — камень, полный света,
ковчег, забывший о причале,
который был в его начале...
И увидав тебя при лунном свете,
невольно я шепнул: «Так вот какая ты...»
Казалось, что тебя колышет легкий ветер,
заветный храм моей былой мечты!
И ты была в лучах луны
живой игрой теней и света,
взнесенной ввысь из глубины
хрустальной чашей, полной снега;
еще — я помню — ты была
звонящей в камне чьей-то песней,
как песня лебедя — бела,
чиста, как те колокола,
что плыли прямо в поднебесье
в те дни со звонницы твоей...
Мне в душу песню эту влей!..

Былых веков затейливою вязью
душой твоей душа моя сплелась,
и разве я забыть могу?
И разве
забудешь ты? Слезами полных глаз
не отводи. Дрожи. Смотри, как в омут,
в мои глаза. Не поднимай лица.
С тобой мы от рождения знакомы
и неразлучны будем до конца.
Душа моя светла,
легка, как эти тени.
Пусть рухнут купола.
Пусть распадутся стены.
Пусть зарастут травой

твоих развалин груди —
я неизменно твой.
Б тебе я вечно буду.
И будешь ты во мне,
когда меня не станет...
Так ночью, при луне,
шепгал я...
До свиданья!

2. АСПИНДЗА

Генерал фон Тотлебен, командующий русскими войсками, посланными в Грузию для совместной борьбы против турок, в 1770 году, в самый решающий момент, отвел свои войска из Южной Грузии, покинув царя Ираклия и грузинское войско. Несмотря на это, Ираклий наголову разбил турок под Аспиндзой. Скомпрометировавший себя Тотлебен был вскоре отозван из Грузии.

У времени — свой вкус и запах
И свой неповторимый цвет,
Свой шум — ручья журчанье в травах,
И шелест ветерка в листе,
Но недоступен осязанью
Его стремительный полет...
Наверно, это — наказание,
Котор-эе нам кто-то шлет.
Течения былых событий
Уже ничем не изменить,
Не оборвать в сплетенье нитей
Хотя бы маленькую нить.
Мне часто по ночам не спится:
Ложусь — встаю, хожу, курю...
Тому вичою — боль Аспиндзы.

Я эту боль благодарю.
Благодарю за то, что в сердце
Из-за нее покоя нет,
Что ощущаю вкус тот терпкий,
Как привкус горечи в вине,
И ветер запахи бывшего
Несет ко мне издали...
Я, как во сне, листаю снова
Твоей истории века,
И снова вижу пламя битвы
И отблеск солнца на клинке,
И вновь шепчу слова молитвы
Перед иконой в уголке:
«Все будет хорошо, не так ли?
Ты завтра победишь, даст бог,
Мой государь, мой друг Иракий!
Усни, не ведая тревог.
Едвоем отслужим мы молебен,
Победой увенчав тот бой.
Как жаль, что некий фон Тотлебен
Бстал между мною и тобой,
Как жаль, что будет век отравлен
Его изменой наш союз...
Но ничего, мы все поправим.
Пусть будет суд. Я не боюсь».
Жалею об одном с тех пор я:
Не сбудется мечта души —
Схватить предателя за горло,
Чтоб с наслаждением задушить...

Вальс под голос кукушки

Повесть-воспоминание

С НИМИ обувь твою, потому что земля, на которой стоишь ты, святая...

На пустой улице — мальчик с пустой бутылкой. Он дует в нее, сердечный, посинел, того и гляди — лопнет. Ну что ты, мальчик, бутылка не труба — спящих не поднимешь. Кто хотел, давно пробудились, а твою девочку, мальчик, и старших, проспавших это воробьиное утро, только трубой, мальчик, разбудишь, только трубой.

О мечта каждого мальчика побыть трубачом!..

Мальчик, дай дунуть в пустую бутылку! Все равно твоя девочка еще спит, а мама готовит ей буржуазное какао. Дай, пока спит, дуну. Дай услышать короткий хриплый звук детства. Дай пустую бутылку, по горлышко полную воспоминаний, выпить. Запрокинуть ее, как недавно я запрокидывал трубу и отдавал свое дыхание нетерпеливому, терпкому звуку меди. Дай протрубить детство.

О мечта каждого трубача побыть мальчиком!..

Мальчик, представляющий меня в Детстве, до сих пор хочет быть моряком. Его влекут простор, синева, мужество.

Какими-то контрабандными, одним мальчишкам известными путями он добывает себе синюю матроску с тремя белыми кантами по краям в честь Чесмы, Синопа и Гангута и тяжелую медную бляху, оттягивающую его куцые штанишки, но к зависти всех



Э. П. С. С. С.
Э. П. С. С. С.

уличных сверстников сияющую полустертым якорем звездой.

Какое счастье и наслаждение — сидеть под старым тополем, надраивая с помощью мела и суконки и без того ослепительно сверкающую бляху!

Недавно я с невероятными трудностями выклянчил у Мальчика из Детства синюю матроску, чтобы подарить ее моему племяннику, вступающему в возраст, когда жизнь без матроски немислима.

Мальчик, представляющий меня в Отрочестве, мечтает стать музыкантом и дирижером.

Он влюблен в полковые оркестры, в перекликающиеся своим блеском с матросской бляхой медные трубы.

И что-то еще незнакомое, неизвестное, от чего щемит внутри — пум-пубу-пум-тари-ра-ти-та-та — Дунайские волны.

И мама, смахивающая слезинку под медные вздохи, уносящие всех на сопки Маньчжурии...

Но однажды, ах, однажды! — он услышал такое, что лишило его честно заработанного эскимо. Ах, это однажды!

Они всей ватагой разгрузили баржу арбузов на Дону, получили свои мальчишеские копейки, на которые можно было купить воздушный шар, свои отражения в кривых зеркалах, пророческую записку у попугая, эскимо...

Все дружно пожелали эскимо.

Разгоряченные, они шлепали по тенистым аллеям горсада имени Горького, отыскивали черноусого мороженщика-пиндоса и купили каждый по три эскимо.

Лафа! Не жизнь, а малина!

Слопали по первой эскимохе, только сняли шуршащую серебристую фольгу со второй, а тут из-за кустов, из-за забора что-то тоненькое и светлое, как невидимая стрела, пронзило мальчишек. Совсем как у барона Мюнхаузена, когда он нанизал целую стаю уток на одну нить. Только еще тоньше и очень светло.

И затрещали кусты, и прильнули они к щелям в заборе, а там, боже мой, там — в невероятную жару сидят человек десять в черненьких костюмах, строго сидят, словно они целлулоидные, и водят взад-вперед

тоненькой палочкой по гитарах, прижимая
бородком к плечу.

«Да не гитара это, а скрипка!»

Тут бы полезть, как надлежит, на рожон — а откуда ты знаешь, что это скрипка, но как-то сразу поверилось — да, это скрипка.

А перед ними, этими черными целлулоидными спиной к пустым скамейкам зеленой эстрады стоял такой же черный, только не со скрипкой, а с тонюсенькой палочкой в руке и палочкой этой подавал наверняка волшебные знаки, по которым скрипки то начинали плакать, то бурно веселиться, то вновь повергали в печаль.

А мороженое капало, таяло, сползало с палочки, и кто-то из заботливых его дружочков незаметно лизнул раз, потом другой, третий—сошло, не заметил, можно и посмейей, а долизав второе эскимо, принялся за третье.

Кто это был — он до сих пор не знает, не помнит. Помнит лишь одно, возносящее куда-то высоко над садом, надо всем городом тоненькое звучание и взмахи волшебной палочки...

Назло Освенциму, осколкам, назло войне — полубугленая елка в моем окне. Она над нами возвышалась, дробясь в разбитых зеркалах, перемешивалась, отражалась в будущих моих стихах.

С обгорелыми веточками ее вывезли из какого-то расстрелянного леса, эвакуировали в тыл, в мое новогоднее счастье. Моя первая, цвета хаки, елочка!.. Переломленные ветки перевязывали бинтом. Забинтованная елка. Забинтованные солдаты цвета елки за окном. Ростом с меня, как она прямо стояла! Как важно было быть прямой, как было важно елке выстоять, всей елочной судьбой срастись с усталой страной, и как страна — в бинтах, но -- выстоять!

Чем украсить тебя, мой зеленый найденыш, обожженная беспризорная елка? Чем, кроме звездочки, подаренной квартировавшим летчиком, тебя короновать?..

Три раза постучал в окно почтальон обмороженным пальцем, мама выскочила, не накинув платка, и вернулась, держа треугольную птицу письма. Веч-



ность не было писем и вот, наконец, треугольник! Ростов-Дон, Рождественская, 35, Тихоновой Анне. Зацелованное штемпелями полевой почты и зацелованное маминими губами, ты прими его, моя партизанская елочка, это самое лучшее, чем можно прикрыть ожоги твои. Как военные почталыоны, забинтованы и зелены, ты неси, неси полевую почту, ты стой да не клонись, молча в верности клянись...

Военный снег... Рядовой мороз... Елкам плакать — грех, детям — не до слез...

Прошлое уже прошло, но его долгая тень все еще длится и пересекается с уже появившейся из-за горизонта тенью Будущего.

Было много пожаров, и однажды пришлось с бабушкой, мамой и кем-то в зеленом уходить от немецкой облавы улицей, где дома горели по обе стороны. От жара у меня на лице потрескалась кожа. Улица была узкая, и паруса пламени раздувались в трех метрах по обе руки. Сумасшедший корабль горящей улицы...

Но инстинкт отличал пожар от огня. Было много пожаров, но помнится больше огонь: рыжие собаки в железной конуре самодельной — из бочки — печки. Тепло.

Топили книгами из библиотеки деда. Стояли великие крещенские морозы. Стулья, скамеечки, пуфики, стремянка, гладильная доска, доски чужих довоенных заборов, дверцы шкафа, а следом и шкаф, на вешалки которого больше нечего было повесить, вылетали в печную трубу, оставляя самые теплые о себе воспоминания.

В ночь, когда от мороза в лампе замерз керосин, кончилось все деревянное. Очередь дошла до книг.

Самый умный огонь, который я видел на свете, — это горящие тома Брокгауза и Эфрона. Я перелистывал книги и отдавал их причитающей бабушке — каждую книгу она отправляла в печь со словами: «Господи, прости...»

Золотом по зелени — Брокгауз и Эфрон!

Пляшущие человечки незнакомой азбуки в манускриптах, оставшихся деду от деда его. Серебряный

профиль Наполеона на французском словаре. Как снисходительны и как великодушны к нам наши книги! Умели бы и мы прощать друг другу так, как прощают казненные нами книги! Через десятилетия, поняв, чем грелись мы, я прокляну ту ночь и стану на колени перед детьми и внуками тех книг и попрошу прощения за ночь, когда сожжен был герценовский «Колокол»...

Прощайте, цветные картинки волшебных изданий! Только два цвета сегодня имеют смысл — черный, глухой цвет пепла и печки, и острый белый цвет снегов Крещенья.

Крещенье книгами — сорок четвертый год! Горит моя азбука, по которой вчера меня натаскивал мой лобастый дед, горит мой букварик! Аз, буки, веди... А за стеной, черным лицом в черные ладони, плачет простуженный мой, начитанный мой дед, и в шести языках, которые он знает как родные, нет ни единого слова, способного выразить его слезы.

А я из груды книг, униженных до дров, выхватил небольшую квадратную книжку. Черными глазищами в белый лист — слагаю дедушкины буквы. Бл-ок. Бл-к. Повернул к огню — увидеть портрет. Увидел — отпрянул, не испугался, а от-прянул: от печки. За пазуху! — пока никто не видит — не дам. Топите сказками — они мне надоели! Блок — не дам. Не знаю почему, а вот не дам. Бл-ок.

Ледяными пальцами утром листал и плямкал губами, как пескарь, складывал буквы. Пока добирался до конца строки, начало рассыпалось. Но как с крыши каплями, не к месту и не в срок, складывалась колдовская оттепель: Бл-ок.

А вслух произнести — дыханья не хватало.

Почти через полтора года, девятого мая, в день Победы, заплаканный черночугунный дед, счастливый и одновременно траурный, нальет мне красного вина и скажет: «Пей, за то, что не дал сжечь Блока!» — и это будет первый мой глоток в жизни — за Победу и Блока, и первый раз в жизни я убегу от взрослых плакать на чердачную черную лестницу — плакать и не понимать, отчего я плачу...

Аз, буки, веди... Топите сказками!..

Под Ельцом, в маминой деревне, воздух пропитан земляникой, и если сесть с лукошком в траву, то можно собирать ягоды, вращаясь вокруг своей оси, не сходя с места. Только потом у ребят портки сзади красные. А вечером к запаху земляники прибавляется издали незатейливый мотив трехрядки. Это Ваня Пешехонов, деревенский гармонист, созывает девок на матаню.

Ой, ну и частушки здесь, обсмеешься! А голоса, голоса — до сих пор помнится лицо одной певуньи, из-за голоса помнится. Лицо было даже некрасивое, но голос, голос, господи помилуй!..

Соберутся на выселках, где круг уже танцами вытопан посреди малахитовой травы, Ваня Пешехонов сядет, бросив на пригорок телогрейку, мигнет глазом, выгнет бровь, да как пройдетя по кнопкам, как растянет меха, аж петухи по деревне пугаются. И ну пошла, пошла пара за парой пыль из круга вышибать, частушками перекликаться — кто кого перепоеет-переспорит. Только белые косынки да огоньки фартовых папиросок «Норд» в темноте мелькают. Чего здесь не наслушаешься, чего не узнаешь, чему не насмеешься. Придешь домой поздно, тетя Паша, мамина старшая сестра, гремит возле белой печки заслонками да ухватами, вытаскивает из красной темени печной громадные ржаные хлеба. Покостыляет-покостыляет, что поздно пришли, потом отломит по теплой краюхе, поставит на стол махотку еще теплого молока, только-только из-под коровы.

«Ешьте, дети бисовы, а я на печь полезла...»

В горнице ляжем с двоюродным братом Володькой, свежим сеном пахнет, земляникой, молоко с хлебушком в нас переговариваются, а в ушах частушки звенят. Ой-ой!

Ну и тишина, заснуть невозможно, каждую травинку в сеннике слышно. А тут еще под окном зашешетались — это Ванька Пешехонов нашу сестру провожает. А сестра-то уедет скоро со мной в Ростов, а там у нее жених настоящий..

Пошуршал-пошуршал я сеном, покумекал и шепчу Володьке про Надьку с Ванькой частушку.

«Откуда ты такую знаешь?»

А ниоткуда, от верблюда! Сам только что придумал.

«Иди ты!..»

И пугнув миленцев, рванули мы в два петушиних горла:

Ой, мой милый — гармонист,
а я — запевала...

Мальчик из Детства тоже, помнится, что-то сочинял-лепетал, но это все между делами, неотложными детскими проблемами, требующими немедленного решения.

И вот в земляничной деревне, воруя с братом яблоки в колхозном саду, мой отрок влюбился, да так сильно, как никогда он еще не влюблялся.

Предмет его любви Ирина была горда и хороша собой. С коромыслом через плечо она шла с полнехонькими ведрами, и неизвестно, что было тяжелей — ведра или золотая, толщиной в руку, ее коса.

И замер, оторопел отрок, вспыхнули черные уголья глаз, и нет бы догадаться помочь нести ведра или хотя бы яблоко предложить, так нет — забыл он обо всем, и о себе, и о яблоках, и о стороже садовом, который уже наводил из-за кустов свою неторопливую бронебойно-бертолетовую двустволку на начинающих расхитителей социалистического имущества, да так шарахнул, что выпрыгнули из-за пазухи краденые яблоки, под ноги Ирине покатались.

Ах, мама! Разве способна скорость света соперничать со скоростью получивших в зад заряд бертолевой соли? Никогда!

Что же ты сделал, дядя, да возьми ты свои яблоки, ради бога, у нас полно своих, только не едим оттого, что чужие вкусней. Где уж тебе, дядя, разглядеть в свой прицел, что творится в душе, когда мимо проходит Ирина с коромыслом через плечо и с косой за спиной!

Уже третий вечер подряд подбирается к ней на танцульках Володька и пытается — будет ли она со мной дружить.

Смеется Ирина, кончик косы заплетает, а я лежу за соседним кустом и люблю ее отсвечивающим поллуною лицом.



Зачем так прекрасна она? Лоб высокий, с горбинкою нос, коса почти до земли...

Смеется Ирина, говорит, чтобы принес я ей колхозного сада самое красное яблоко. Самое-самое красное! До сих пор слышу, как сыплются жемчуга ее смеха...

И решил тогда отрок покончить с собой. Повесть. Не было ему другого спасения от той любви.

Выбрал он время, утащил у дядьки широкий солдатский ремень, влез на печную лежанку. А в метре от печки в потолке торчал крюк, на котором когда-то качали колыбель с его братом.

И уже было приладил он ременную петлю, да решил, что надо написать ей прощальное письмо, все сказать без утайки, чтоб знала, почему лишила она его молодой жизни.

Слез он с печки, бумаги нашел и карандаш и начал писать. Три часа писал, аж рука устала. Все написал. И в конце поставил: «Прощай!» с тремя восклицательными знаками.

И как-то неохота ему стало вешаться.

Но неловко — пообещал ведь, письмо-то уже написано, делать нечего, надо вешаться. Вдохнул он и полез в петлю. Накинул, значит, сел на краешек лежанки и оттолкнулся. В следующую секунду страшный грохот потряс всю избу. Нет, он не провалился ни в ад, ни под пол — он просто грохнулся всем своим юным телом на половицы, потому что крючок давным-давно проржавел и сразу же обломился, не удержав даже его тощее тело.

На грохот из горницы прибежала полусонная тетя Паша, захохала, запричитала, а когда добралась до сути, не было в мире силы, способной прервать ее смех.

И кончилась вся любовь, умерла, оставив жить и взрослеть нашего отрока. Только на другой день, когда он помогал тете Паше вязать снопы в поле, она как-то странно поглядела на него и сказала:

— А и не знала я, что ты стихами писать умеешь!.. Оказалось, что прощальное письмо было написа-

но стихами — в порыве отчаяния и страсти он этого сам не заметил.



Романтик, Гамлет и Я — три землемера Времени. Как бы сказал Хлебников — три Времямера. Эта тройца, триада, трилистник — повод книги, но не причина. Причина — Время, состоящее из множества людей, встреченных мною, Гамлетом, Романтиком.

Романтик родил Гамлета. Гамлет родил меня. Я — сын Гамлета и внука Романтика.

И — крестное мое Время.

* * *

Шли они, долгожданные, шли — после Победы поездá, и жернова вагонных колес перемалывали разлуку, и разбегались рельсы, как портупея на груди лейтенанта, и рыжие товарные вагоны мелькали мимо наших восьмилетних глаз, унося пилотки, бинты, линялые гимнастерки и пляшущего, — закусив ленточки бескозырки, — матроса на вагонной крыше, и нельзя было различить — что кричали нам солдаты, и мы бежали за тормозящим, лязгающим составом к полуразрушенному вокзальчику, где пел и отбивал чечетку под трофейные аккордеоны мой южный городок, где все целовали всех и вино проливали наземь, на сапоги, на довоенной моды туфельки чьи-то, и узнавая - не узнавая бросались в объятия, и из всего этого слух различал только одно: то сдавленно-глухое, то полоснувшее по всему перрону, пять лет непроизносимое — мама!..

А мама, еще красивая и молодая, стояла в окне нашего домика, и я сквозь заросли сирени видел ее белые руки, и прятал лицо в сиреневый огонь, и задыхался оттого, что маме все некого встречать, и опять не верил в это и, наломав сирени, летел на вокзал, а мама, неподвижная, как нарисованная, осталась наедине с сиренью.

Холст пятьдесят на пятьдесят, вместо багета — резные наличники окна, сирень, белые-белые руки мамыны...

..И уже это не отрывистое дуденье бутылки, и уже это не деревья, которые помнят все, что я успел позабыть, и не круглый это пятачок площади перед домом, а поляна лесная, мятная поляна, где под голос кукушки тридцать девять мальчиков, похожих на сорокового, меня, застенчиво и неловко кружатся в вальсе, задевая за ветки руками, все похожие друг на друга, все погодки, смуглые ягодки, в этой высокой траве...

Ах, конечно, это самая лучшая музыка — вальс под голос кукушки! Ах, конечно, этот вальс — первый и последний! И сколько еще эта музыка будет звучать, и сколько еще нам кружиться позволит кукушка! Что я делаю вид, будто я не кружусь, будто я просто листья зеленые с веток срываю и в губы беру неизвестно зачем?

Пахнет мятой и музыкой этот никем не написанный вальс. Ну еще, хоть немного, хоть круг еще вальса на этом фосфоресцирующем циферблате поляны лесной. Ну еще, хоть немного, кукушка! Вальс, мальчики, вальс...

Может, все мы существуем в нескольких лицах? И словно бы из кубиков нескольких этих складывается мое имя, сегодняшний я. И мой безногий сосед по купе — с ним тоже такое. Он --- до войны. Он -- на войне. Он — без ноги.

Разве что колеса поезда так же круглы, так же перемалывают километры, чтоб спустя семь часов я ступил на перрон, на котором я был семилетним.

А ты все бежишь и бежишь за поездом, мой семилетка, только коленки сбитые мельшают, бежишь все, бежишь... Ку-ку...

Таких длинных поездов теперь нет — по тридцать, сорок вагонов. И теплушки, и плацкартные, и открытые платформы — вперемешку. Вне всяких расписаний, путая наши предположения и ожидания, они шли уже третий месяц, но мы еще не привыкли, не насытились, и маленькие туннели разинутых ртов все смотрели на далекую точку пересечения параллельных рельсов. Уже давно не было сирени. Мы ходили по

вагонам и пели. Концерт длиною в тридцать километров.

«Я был батальонный разведчик, а он — писарь штабной. Я был за Россию ответчик, а он спал с моею женой...»

Песни были разные. Улица — языкатая вездущая зубоскалка, палец ей в рот не клади, — учила нас песням, выставляя по вечерам в окна допотопные картавые патефоны с пластинками Лещенко или швыряя по мостовой пьяную компанию, глоток своих не щадящую, свистящую сквозь выбитые зубы фартовый мотив или фронтовую песню.

«Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая. Здравствуй, моя Мурка, и прощай...»

«Когда качаются фонарики ночные...»

«...до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага...»

И катились слезы по исхудалым лицам солдат, и три тукающих сердечка были рады вагонному смеху, не понимая, что это всего лишь способ скрыть слезы, и губы, потрескавшиеся от солнца и ежевики, выкрикивали корявые куплеты, до смысла которых мы еще не доросли.

«А слезы катятся, братишки, незаметно по исхудалому лицу...»

И уже в последний раз в жизни солдаты выкликают в окошки наши имена, большие ладони уже не могут дотянуться до наших вихров, наш вагон медленно уплывает, медленно и навсегда, будто кто его тащит за ниточку, наш вагон. Наш вагон — говорят мальчики, потому что на полчаса они были голосом вагона, срывающимся, неровным, но чистым...

Он отстегнул протез — сверкнул шрамами и спрятал под простыней обрубок ноги.

Протез стоял отдельным, самостоятельно одушевленным предметом, самоуверенно дожидаясь, когда наступит утро и в него, как в стакан, вставят страшный цветок культияпки.

Так стоит конвоир за спиной арестанта, лениво позевывая, зная, что от него никуда не деться.

Его присутствие было присутствием третьего лишнего, и вдруг — пошевелив пальцами, настоящими жи-

выми пальцами—как бы разминая их—протез черство скрипнул на все мое сновиденье и сделал шаг...

«Все у этих людей было двойным, они, значит, имели четыре руки, четыре ноги, два лица... Тогда Зевс разделил каждого человека на две части, как разрезают груши пополам, чтобы они лучше сварились.

Когда, таким образом, все естественно разделилось пополам, у каждого человека появилось влечение к его второй половине, и обе половины снова обвили друг друга руками, одна другую, соединили свои тела и захотели срастись».

Я не стал вдаваться в полемику с этим мифом Платона, захлопнул книгу и выключил свет. Ночной поезд взбирался, кряхтя, по лестнице шпал, и колесо луны буксовало, рассыпало звезды по черному небу.

...и мальчик не мог ни слова больше выдохнуть из себя, и не мог отвести глаз от ее бронзовых, льющихся из-под пилотки на плечи волос, и стоял посреди вагона остолбеневшим столбом, и как в немом кино не слышал — что она ему говорила, а видел красный рот, складывающий какие-то белые слова, раскрывающий в улыбке яркие зубы, и пальцы ее, пробежав по плечу, как чистый дождик смягчили его волосы, запах мяты и свежего сена, идущий от ее гимнастерки, вошел в его легкие, распрямил их, как белые крылышки, и все это напомнило ему маму, но здесь же перестало быть мамой, и не было на свете ни одного слова, каким можно было бы назвать это, и не мог он попятиться, и тянуло его, как к губной гармошке, чтобы звучали тонкие, рвущиеся и продолжающиеся прозрачные звуки, похожие на листопад, чтобы это было непрерывно, вечно, продолжалось, не исчезая, свежее сено, перемешанное с мятой, от которого губы делают влажно-красными, и два густо-синих глаза нависали над ним, и он отражался, как два свечных огарочка, забыв свое имя, песню, товарищей, поезд, расширенными зрачками вбирая ее лицо, волосы, коричневую родинку и голубую прожилку, пульсирующую у воротника, и дрожь поезда передавалась его тоненькому телу, и он обхватил ее светлое запястье, чтобы унять эту дрожь

летающего краснотелого поезда, за которым он через несколько минут будет идти, не отрываясь от ее лица в окне, идти потом быстрым шагом, потом бежать, потеряв ее лицо, бежать по жаркому песку, не чувствуя глаз своих, ног, жаркого песка, разрывая худеньким телом финишную черную ленту паровозного дыма...

«Нашел ли ты ту, вторую, Зевсом от тебя отрезанную половину?» — спросил, не переставая вращаться в вальсе, чернявый семилетка.

«Иди, танцуй, рано еще задавать такие вопросы, покружись с мое, тогда спрашивай. Танцуй, мальчик, отсюда, танцуй...»

Продолжение сна настигло меня вновь и, отстранив мои руки, разбросав их, как распахнув двери, вошло в меня во всем своем сверхреализме.

Спрыгнув на полном ходу с поезда, протез уверенно зашагал в сторону, откуда мы ехали, командуя сам себе: «Раз-два! Раз-два!..» Он шагал по выпуклому, пустому зловеще-багряному полушарию, в меридианы которого были вбиты верстовые столбы с красными цифрами 1941, 1942, 1943... Возле следующего года он замедлил шаг и, свернув налево, пошел через небывало темный лес, где сосны чередовались с готическими соборами и земляника пятиконечных звезд краснела на обелисках. Неподвижный флаг с надписью «Прага» торчал на самом высоком костеле, вокруг которого невиданно большие ландыши стояли, как столбы с газовыми фонарями.

Протез остановился возле одного из обелисков и замер.

— Слава тебе, Нога! — произнес он. — Пока в душном купе скорого поезда спит тот, кому ты принадлежала раньше, а я принадлежу теперь, я пришел поговорить с тобой. Я не знаю, каким был человек, пока ты была с ним. Но когда он лишился тебя, стойкость солдата покинула его, и детские оловянные солдатики могли служить ему в этом примером. Он обрюзг и опустился. Он начал ходить по вагонам и собирать по копейке, как нищий, пьяным голосом распевая окопные песни. Вечером он пропивал все, что

удавалось собрать за день. Сейчас в одном с ним купе едет человек, который восьмилетним мальчишкой был свидетелем того, что я тебе рассказал. У него была цепкая память, но он еще не узнал моего хозяина. Мне стыдно, Нога, мальчик видел, как его били солдаты...

...с протянутым картузом, водкой окая в лицо, он шел вдоль вагона, и пятаки со всех концов звенели, как колокола на церкви, отпевая мертвецов. Правый карман его засаленного кителя отвисал под тяжестью монет. Он подмигивал, пошучивал, благодарно бормотал, и три медали тускло позвякивали на его груди. «Темная ночь, только пули свистят по степи...» — затянул он нетрезвым фальцетом, и тут чья-то рука в тельняшке, как полосатый шлагбаум, преградила ему путь. Я не помню всех слов, только узкие бледные губы матроса, процедившие «позоришь, сука», и звяканье рассыпавшейся после пощечины мелочи, и еще, и еще, и еще — по лицу, красному, по-черепашьи спрятавшемуся в плечи.

Слава тебе, Нога! Слава тебе, месившая грязь на марше, взбивавшая горячую пыль, топтавшая окровавленный снег, подковам твоего сапога, мозолям, коленной чашечке, всем пальцам твоим поименно — от большого до мизинца — каждому ногтю: слава, слава, слава! Если начнется война, обеим моим ногам будет примером твой шаг, а если одну из них постигнет участь твоя, я постараюсь, Нога, устоять на второй.

Слава вовеки веков ордена Красной Звезды павшей под Прагой Ноге! Залл!

«Не я это был, парень, ей-богу, не я», — соврал он на прощанье.

* * *

Лучше всего родиться в каком-нибудь Тобольске, Урюпинске, Пскове, словом, в одном из уездных в прошлом городков, скромные кружочки которых на карте отечества похожи на капли обложного дождя, разбегающиеся по глади воды.

«Гении рождаются в провинции, а умирают в Париже».

Мы не гении, но не обязательно умирать в Париже — можно и в Москве.

Итак, в Тьмутараканске с одноэтажным интеллектом...

Прелесть таких городов не только в шмелиной тишине и монотонном ритме, похожем на хруст овса в лошадиной торбе, тайная прелесть таких городов в публичных библиотеках, глухие книгохранилища которых похлеще сундуков Скупого рыцаря. Как мало претендентов на эти алмазы! Считанные мореходы знают об этих островах сокровищ, и не всякий парус ловит ветер, влекущий туда.

Десятилетиями собирались эти сокровищницы. Учрежденные городской Думой, они пополнялись русским купечеством, осознавшим, что с материальным ожирением может справиться только дух;

столпы отечественной литературы, имевшие честь и несчастье родиться в этой глухомани, регулярно присылали свои сочинения с размахистыми автографами и подшивки столичных журналов;

овдовевшие адвокаты, певцы, учителя и те из представителей русского духовенства, чьи души не придавил тяжелый крест православия, завещали публичкам свои частные собрания — эти родники живой воды, утолявшие их жажду жизни;

и, наконец, это было пополнено юными рыцарями революции, острые глаза которых не успели дочитать до сути, но раньше чем навек смежить веки, успели увидеть, что эти сокровища будут необходимы тем, кого еще не видать за кровавым горизонтом революции. И, смахнув с книг паутину частной собственности, на шибких тачанках и колченогих броневиках свозили они в публички из покинутых особняков золотые слитки отечественной словесности.

Как не хватало места раненым в приспособленных под госпитали дворянских собраниях, так и книгам не хватало места в холодных хранилищах провинциальных публичек.

Еще никто, кроме старого чемодана, в котором вы среди ненужного тряпья прячете тетрадку, не знает,

что вы пишете стихи. Скорей узнают тайну двух океанов, чем обнаружат первый том вашей блистательной ерундистики — чернильное воплощение отроческих поведеней, корявую клинопись первых бессонниц. Но ваша страсть к книгам уже замечена и поощряется исподтишка. Седовласая библиотекаряша в очках — давний друг деда. «Это внук Егора Варгановича», — представляет она вас таким же доброглазым бабусенциям в полутемном книгохранилище публички. Вам по возрасту еще рано числиться читателем такой библиотеки, поэтому вы будете читать не в зале с умными зелеными лампами на столах, а за кулисами, в хранилище. И кое-что можно брать на дом.

На первый раз внук Егора Варгановича заказывает ни больше ни меньше как Четьи-Минеи. На его взгляд, эта штука должна быть посильнее «Острова сокровищ». Немая сцена среди библиотечных монахинь, их лица украшены сдержанными улыбками...

Десятки, сотни книжных килограммов — сколько их нужно проглотить, чтобы прибавилось на грамм того самого вещества, благодаря которому вы именуется Человеком?

«Человек — это звучит гордо», — утверждали одни книги.

Другие, опуская очи долу, говорили: «Человек — это звучит горько».

Да, но почему в Тьмутараканске?
Потому что —

во сне вы уже летаете, и год от года выше, и однажды, через «лучшие книги» лет, после «первый поцелуй» год, вы взлетите над квадратными котелками тьмутараканских домишек так высоко, что увидите весь иллюминированный эллипс ночного городка, и страшно станет вам от мысли, что он для вас отныне — нуль, пустой котелок, замкнувшийся круг... Страх от пришедшей мысли пробежит мурашками по спине, и сентиментальная слеза благодарности соскользнет со щеки, звонко цокнет в театральном фонтане, и вы будете лететь с неисчислимой, неземной скоростью к высоте, которая уже поманила вас, рядом с которой

родимый Тьмутараканск не выше прыжка лягушки. Звездная, пока еще недостижимая планка станет для вас смыслом всех будущих дней, и еще мучительней ее притяжение и недоступность будут сказываться на земле, наяву.

И вы начнете вечную тренировку по прыжкам в высоту, вечную потому, что, покорив мечтательную высоту, вы будете поднимать планку на высоту новую и взлетать до тех пор, пока она не блеснет звездной покорностью за спиной...

В искусстве французском эта высота называется Париж, у нас — Москва, Россия... Вот почему в Тьмутараканске. Далекая цель будет столь желанна, что это поможет росту ваших крыльев, мускул мысли будет крепнуть и возрастать объем легких, но еще быстрее будет возрастать объем души, потому что для взятия желанной и теперь уже необходимой высоты нужен большой объем души.

А пока, со страшной силой распарывая сатиновую ночь, вы летите во сне и следом за вами, пугая сонных воробьев и стряхивая звезды, летит навсегда умершая для вашего сердца панночка, летит во гробу хрустальном и листает конспект по высшей математике, в который на лекциях она переписывала ваши стихи...

«Когда я был еще дурак, носил ворованный пиджак...»

...в Тьмутараканске, рыбею городке, уха на примусах вскипает, но, слава богу, белая сирень кошачий воздух освежает.

Город любит рыбу и сплетни.

Коммунальная весталка пятьдесят восьмого размера возвращается с базара. В одной руке у нее соломенная кошелка, полная овощей, в другой — свежий сазан. Она ловко ухватила его двумя пальцами под жабры, а его сердоликовый хвост метет мостовую.

— Маня, — кричит она подруге по весовой категории, стоящей на балконе в позе оперной солистки, — что я тебе, Маня, скажу, только по секрету, чтобы никому... Вчера, ты слышишь, только я легла...

Маня перевешивается через перила пузатого балкона.

— Ой, ты!.. Ух, ты!.. Ох, ты!..

«Ой, ух, ох...» — стонут перила под маниными локотками.

— Маня, погадай мне вечером, ладно? Мань, а про это никому... ни гу-гу, Мань, ладно?..

Ее «ни гу-гу», как звук буксира, оглашает окрестные дворы, которые уже тасуют ее секрет в колоде воскресных новостей.

От крысиных подвалов до утонувших в акациях и тополях балконов всем известно уже совершенно секретное «ни гу-гу». Тетя Фрося — тете Вале, тетя Валя — тете Лале губы кренделем сплетали: вы слышали, вы слышали?..

И все эти любезные речи интегрированы небывалым и нигде не повторимым, типично тьмутараканским звуком, являющим смесь русского звонкого «г» и кавказского хриплого «х» — они слиплись, как две конфетки, срослись крепче сиамских близнецов. Гром вдалеке, гнев голодного желудка Гаргантюа — вот фонограмма речи тьмутараканской.

Те немногие, что говорят нормальное русское «г», причисляются к интеллигентам. Их называют здесь «культурными». Их уважают, но сторонятся.

А на соседних балконах и в голубинных дворах, распахнутых, как блузка на груди морячки Сони, стрекочут швейные машинки, кудахчут куры, стригут детей и гладят белье, шинкуют капусту, чинят сапоги, бреются, пудрятся и причесываются, одновременно обсуждая уличные новости и ночные происшествия, звучит коммунальный речитатив в сопровождении медной группы жужжащих примусов. Примуса надраены до блеска — по ним судят о репутации хозяйки.

И дядя Изя со второго этажа не в силах заглушить своей скрипочкой этот полуденный акт тьмутараканской оперы. Глаза его полуприкрыты, летают руки, миг еще — и вместе со скрипкой он взлетит с балкона, худой спиной прогибая небо, и полетит к своей несбывшейся высоте, уронив в тьмутараканскую пыль последнюю горсть музыкальных кристаллов.

Аве, Тьмутараканск! Аве!

Но вы уже ему сказали «Амен!» Все, конечно, подписан приговор. Презрения холодный пламень ваш источает взор.

Вы прокляли эти кривоногие переулки, скопище мазанок и саманных домиков с пышными палисадами, амурные абажуры, освещающие по вечерам честных и жуликоватых обывателей, хрустящих сухарямч и вечерней газетой.

Через двадцать лет, приезжая на три-четыре дня, вы будете всею душою обнимать призраки минувшего, маячащие на углах, до дрожи сердечной восхищаться тем, что сейчас проклято только за то, что липнет к вашим подошвам, тянет их, как свинцовые подушки на ногах водолаза, вниз, тщетно удерживая от первого прыжка, от первой попытки одолеть влекущую вас высоту.

«Не вспоминайте меня, цыгане, прощай, мой табор...»

Сербиянка с авторитетными серьгами в ушах вытаскивала дальнюю дорогу, великую любовь и... что-то еще, что сама назвать не может, никак не прочтет сочетание карт... что-то большое... «Не могу сказать...»

Где знать сербиянке о высоте, о мерцающей над головой звездной планке? «Карты в людях понимают плохо. Погадайте лучше по душе».

Чемпионы по прыжкам в высоту часто ставят планку на пару сантиметров ниже своих возможностей. И берут высоту «с запасом».

В Поэзии надо ставить на «пару сантиметров» выше — только так можно подтянуть себя вверх. Блок, Хлебников, Есенин, Маяковский, Ахматова...

У поэта всегда должен быть сильный соперник. Не противник, а соперник — друг, а не враг. Не для зависти, а чтобы крепнуть от него. В искусстве иначе быть не может. Но кого выберете вы в соперники — Пушкина или Кусикова — зависит уже от вашего внутреннего чувства высоты.

«Слово Даниила Заточника». Вдохновение — приступ Правды, озноб Истины.

Все это было со мной, но если вы не возражаете, я иногда буду говорить от третьего лица — мне так удобней.

В пять лет я знал, что булки не растут на дереве, а детей не находят в капусте. Читать и писать я научился тоже в пять лет. Правда, в чтении я долго не мог уяснить смысла мягкого и твердого знаков, а писал по принципу «как слышится — так и пишется».

«У Лукомор мягкий знак я — дуб зеленый», — читал я бабушке, которая не умела ни писать, ни читать. Собственно, это и было причиной моего раннего «всеобуча».

— Почему ты не умеешь читать? Ты ведь большая, ты же бабушка! — недоумевал я.

Что могла ответить мне моя чудесная Надежда Дорофеевна Федорова, тамбовская крестьянка, которая до конца жизни боялась включать электричество и сидела в потемках, если никого не было дома. Не связанная с нами кровным родством, четвертая жена деда, она была духовно роднее, боюсь, что больше матери, в те последние годы войны и в первые мирные годы.

«Есть женщины в русских селеньях...» — это про нее; про мою Надежду Дорофеевну.

Есть великая порода русских женщин, которые, ничего не имея, умеют все — и свои слезы спрятать, и мужие утереть, и о себе забыть, и о других помнить. Долог их взгляд, чисты голоса, бескорыстны души. Слово их крепко, их песни сильнее молитв.

Дед, знающий шесть языков, и неграмотная бабка, благоговейно смахивающая пыль с дедовых книг, — это две ладони, лепившие меня из первичной человеческой глины.

Но дед и мама днем на работе, отец еще на войне — никто не может мне почитать. Пришлось учиться самому. Конечно, с помощью деда, который пытался учить меня одновременно и армянскому, но я отверг эту попытку только потому, что меня сжигало желание поскорей прочитать до конца «Руслана и Людмилу». Это была первая моя книга. Я был в нее

влюблен и прятал на ночь под подушку. Во сне я летал, ухватившись вместо Руслана за бороду.

Может быть, тогда и родилось ощущение полета и чувство высоты?..

...что булки не растут на дереве...

Но в те же пять лет, узнав, что книги пишут люди, я обалдел.

Как это — пишут? Книги есть, как небо, деревья, голуби, вода... Книги — это то, что у деда в шкафах.

— Дед, а ты какую книгу написал?

Смеется дед, говорит, что не умеет писать книг. Как это не умеет? Это баба Надя писать не умеет.

— А кто написал это? — тещу я Руслана с Людмилой.

— Пушкин! — отвечает дед и показывает на обложку. — Видишь, наверху написано — А. Пушкин. А. — это значит Александр, это его имя.

— А где он живет? Пойдем сейчас к Александру, может он мне напишет еще книгу?

Белозубая улыбка опять озаряет смуглый лик деда, он подставляет к шкафу стул и достает с последней полки тяжелую, большую книгу.

— Иди-ка сюда. Садись. Смотри...

Я вижу Пушкина — большеглазого, смуглого, губастого, похожего на деда, а еще больше на моего отца с фотокарточки, только форма у отца другая и медали на груди.

— А что... Пушкин — мой отец, что ли? — как же так, соображаю я, отец ведь не Александр и вообще он на войне, фрицев бьет...

Курчавые чертики смеха наверно плясали за моей спиной, корчась, хватаясь за животы и накручивая друг другу хвосты по поводу такого несуразного губошлепного дитяти. Во хватил, во потешил недомерок, Пушкин — его отец, надо же!

Дед переворачивает несколько страниц, и я вижу, как среди черных деревьев падает на снег человек, нет — Пушкин, а недалеко от него стоит с пистолетом другой, немец наверно...

— Это на войне?.. Это... это... а почему немец убил Пушкина?..

Чертики моментально перестают смеяться, прыгают мне на плечи, гладят мои волосы, вместе с дедом успокаивают меня, умоляя не плакать, иначе они тоже начнут плакать и тогда все потонет в слезах.

Дед, вероятно, костыляя себя за свою затею, объясняет мне, кто такой Дантес, что он француз, а не немец, что это было очень давно и Дантес убил Пушкина на дуэли, а не на войне. Я никак не могу уяснить разницы между войной и дуэлью.

— А за что? — доканываю я деда последним вопросом.

— Он не любил стихи Пушкина...

Я вздыхаю, я смотрю в окно на чертиков, превратившихся в воробьев, я не понимаю — как можно не любить «У Лукомор мягкий знак я — дуб зеленый...»

Я не верю, что это было очень давно, что этот... как его... Балбес-француз, он настоящий немец... Значит, Пушкина убили на войне... Но если Пушкин все-таки не мой отец, то куда же смотрел мой отец, который Виктор, а не Александр? Он же там — на войне, рядом...

Кто же теперь будет писать книги?

Я лежу на бабкином сундуке, лицом к стенке, я ничего не хочу, я никому не отвечаю. Самый младший чертик сидит на подушке возле моего лица и печально теребит кончик хвоста.

Случайность или счастье вернули меня в тот вечер к жизни:

развязывая на бегу белую косынку, птицей с письмом влетела мама — от отца письмо и фотография. Ей что-то шептала бабка в противоположном, у печки, углу — вместе с дедом она подошла, надо мною склонилась:

— Ну, что наш мальчишка загрустил? Посмотри-ка, наш Пушкин-отец прислал тебе письмо и фотокарточку...

Я сразу же оборачиваюсь и вижу —

в высоком белом кресле сидит, закинув ногу за ногу, веселый Пушкин — он скорее смеется, чем улыбается, в одной руке у него дымящаяся папироска, в другой, свободно свисающей с резного подлокотника, — пистолет.

Значит, он жив, — весело вскакивает мне на плечо чертик, — значит, он убил этого немецкого Балбеса!

— Мама, деда, — кричу я, — ура, ура, не убили, не убили Пушкина, он живой.

— Жив, жив, — гладит меня вместе с чертиком по голове дед, — Пушкина никогда не убьют...

Через несколько лет я прочту на обратной стороне фотографии: «Моей дорогой Аннушке и сыну Пете — в день освобождения Будапешта».

И все же —

по золотому небу сновидения, медленно взмахивая большими страницами, летела из-за горизонта многокрылым серафимом тяжелая книга, сделав три круга, она бесшумно приземлилась, и я снова увидел страницу дуэли,

через мгновение, занимая все пространство сна, изображения стали расти, выходя за пределы страницы и приобретая реальные размеры —

зашумели черные деревья, я ощутил холод снега и близкое ржание коней, стоя напротив Дантеса, я видел черную точку презрения в глубине его зрачка, он хладнокровно и неторопливо поднимал пистолет, тонкие губы будущего пэра Франции были искривлены бледной улыбкой,

из ствола его пистолета вылетел штопорок дыма, и в этот миг, опережая медленно лежащую пулю, откуда-то слева смуглой молнией мелькнул Пушкин и заслонил меня...

С тех пор, несколько меняясь в пространстве, но оставаясь постоянным по сути, этот сон сопровождает меня всю жизнь.

Последние годы фигура Дантеса все уменьшалась и уменьшалась, пока не исчезла из виду, но каждый раз —

медленно из-за горизонта летит пуля...

Этой пуле посвящено стихов больше, чем какой-либо женщине — вдохновительнице, богине.

Лаура и Беатриче, глубокочитимые синьоры, прекрасны, но малы свитки вам посвященных стихов! Что ваша преступная неприступность в сравнении с преступностью той пули? Если бы собрать, начиная с

Лермонтова и кончая поэтами наших времен, все написанное об этом выстреле...

Самая проклятая пуля на земле.

... он вообще не любил стихов. Даже своих — французских. Тем более — русских, тем более — Пушкина. И он понимал, что не может любить стихи, не способен. И от этого комплексовал. Спокойно, как в мишень, вlepил пулю в Пушкина. Спокойно, без каких-либо угрызений совести, дожил до глубокой старости, не понимая содеянного. Когда у него спросили — понимает ли он, что убил величайшего поэта России, он ответил: «Но я ведь тоже пэр Франции!»

Старый пэр, он спокойно выстрелил бы и в Тютчева, Фета, Анненского, Соловьева, Блока... Из неспособности полюбить их стихи. Но Пушкин заслонил всех, кто следовал за ним, спас от пули, подарив отечеству, вслед за своими стихами, стихи и Тютчева, и Блока...

* * * *

Рынок — рябой резонер, разгильдяй, раззява! Хаос рынка — пафос рынка. С шести утра до шести вечера эта распластанная шестеренка рынка управляла жизнью города, барахолила эта барахолка, бормотала, барахталась, и ее наркотический гул как нечто готическое возносился над крышами.

— Что вы, дама, это же машина времени, а не швейная вам машинка! Да на такой сам Зингер не шил себе брюков. Берите и шейте, чтоб у вас руки не крутило!..

— Бемберы, бемберы! Кому бемберы? — завывал долговязый в грязной майке, выставив напоказ левую руку — по локоть в часах самых разных систем и времен. Ну, какое время сравнится с голой волосатой рукой, запястье которой венчают хрупкие золотые женские часики, а выше по локоть, поверх татуировки, шли — как по росту — часы больших размеров и у локтя сияли массивные, старого серебра знаменитые карманные бемберы «майд ин Швейцария» с вензелями на толстой крышке и тяжелой цепочкой — эдакая серебрястая карманная собачонка времени на цепи.

— Бемберы! Бери, бери бемберы! — тикающая рука простирается над толпой и помахивает, помахивает ее заскорюзлый перст времени.

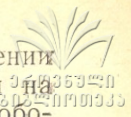
Купи, бери бемберы, живи во времени. Деньги на колесо—и время у тебя в кармане. Только учти, не исключено, что внутри твоих бемберов, заветных твоих часиков, нет ни единой шестереночки, ни маятника, ни винтика, что пока ты подносил к уху своему волосатому светящийся циферблат и вслушивался в бег времени, над ухом у тебя отстукивал белыми злыми зубами, подражал тиканью-тиканью татуированный долговязый герой нашего времени.

И откуда все это взялось, как остались в живых, не погибли все эти машинки и часы, севрские вазы и фарфоровые ночные горшки, вольтеровские кресла и эскизы Айвазовского, пухлые перины и кашемировые шали, полное собрание сочинений Достоевского и столовое серебро, такое столовое, такое серебро, что им и кушать неловко?

Как оказались в живых гимнастерки, шинели и кирзовые сапоги, соседствующие рядом с этой роскошью, — понятно. Но это — как?!

Все это, и брань, и смех, мат отцов и взгляды матерей, юнцы и старики, и поверх этого — музыка Штрауса, вальс Штрауса, довоенное увлечение довоенных людей. Игла патефончика царапала надколотую пластинку, пополам с шипеньем, бранью и смехом, вальс скользил одиноко над куплей-продажей, и никто не хотел танцевать. Никто не танцевал, на первый взгляд, но в движениях рынка и жестах скользили неумелые па разучившихся танцевать. Это следовало не рынком назвать, а театром, потому что нигде, никогда, ни в какой буффонаде не играло сразу столько людей и предметов! Мольер? Может, оттиск ростовского рынка и есть в его лучших вещах, но... Мон шер, постоим в стороне, последим и сличим времена, Альма матер, милорд. Это стоит раздумья и полуночного бденья, и пера, и листа. Где еще так играют себя, как играют на рынке, игры не стеснясь? Где еще солонее слеза и разительней смех?

А мат? Петр Алексеевич, государь-император, реформатор ты наш, медный всадник! Что твой «большой



загиб» из 217, кажется, матерных слов в сравнении с красногубым гневом мичмана, который поставил на землю пару своих чемоданчиков — руки чтоб освободить, расплатиться за квас, он и глазом мигнуть не успел — нет чемоданов. Ох, Петр Алексеевич, вот речь, вот крепка, — протяни ее канатом на Луну и лезь — не оборвется.

А уж если бы сюда Павла и Сергея Михайловича Третьяковых, так глаза проглядели бы на эти руки, плечи, спины, испещренные неизвестными мастерами татуировки нашего столетия. Пришлось бы пристройку делать новую к Третьяковской галерее, приписки в энциклопедических словарях, что, дескать, по богатству и числу татуировок Третьяковская галерея занимает видное место среди европейских музеев.

Времена, Племена, Пламена.

Достойно, мон шер, безусловно достойно. Наши перья остры, мы напишем, напишем, мон шер. Только прежде прокатимся на карусели, хоть кружочек на белой лошадке, мон шер.

У меня никогда в жизни не было велосипеда. Даже трехколесного. Но была у меня карусель!

...Мне восемь, и я работаю карусельщиком, я забираюсь наверх под карусельный душный парусиновый конус, где на все четыре стороны света, как компас, чернеют крест-накрест отполированные нашими руками четыре бревна — я вместе с другими мальчиками кручу карусельную ось, я чувствую себя богом, от которого зависят судьбы всех желающих прокатиться на карусели, а вечером я испытываю те же чувства, что и мальчики, выгоняющие в ночное коней, и карусель превращается в Бежин луг...

А лейтенант стоял, лейтенант слепой, и как хрупкая девочка, его руку держала тонкая палочка и никак не мог понять лейтенант — в какую сторону карусель кружится...

Цыганки сторублевками хрустели, веселые вертелись карусели, аплодисменты фокусник срывал. Ростовский рынок — шельма и шарманщик. В дырявые карманы лез карманщик, и кто-то пьяный скрипочку

терзал. В том рынке было что-то от Ходынки. Хрипели довоенные пластинки, шла женщина высокая, в слезах. Вывал: «Купите корень жизни!» — знахарей и кто-то соль хотел сменять на сахар, и крест нателный продавал монах. И маленький, как черная дробинка, стоял я, семилетний, среди рынка, среди фокусников, знахарей, жулья. Еще мне соль соленой не казалась, еще со мною скрипка не терзалась, креста не нес, цыганка не старалась и женский плач касался не меня...

О, шарман, мон шер! О, слепой шарманщик с попугаем, угадывающим судьбу! Отражаясь в синих стеклах очков, brave бабы совали в его костлявую руку мятые рыжие рублевки, и он брал попугая на ладонь, подносил ему аккуратненький ящичек с белыми конвертиками, в которых покоились все пророчества, и каждая судьба зависела от этой желтой птички, воробья африканского, — что он вытащит своим клювиком, ключиком судьбы? Одни не верили, рвали здесь же конвертики в клочья, вторые задумывались над хитрым порядком нехитрых слов, кто-то всхлипывал, кто-то радовался, благодарно хвалил африканского воробья.

Я наскреб серебра, пересыпал в его стариковскую руку и, дрожа от нетерпения, выхватил из птичьего клюва бумажку. Сейчас, сейчас, сейчас!

«Сними обувь твою, потому что земля, на которой стоишь ты, святая».

А снимать было нечего, я и так босоног стоял в горячий рыночной пыли и смотрел в непроницаемые синие стекла очков шарманщика.

— Ша, мальчик! — спокойно ответил он на мой возмущенья. — Ничего не понятно? Поймешь. Подрастешь и поймешь.

...Ну хорошо, а где вы еще купите часы, которые в двадцать четыре часа бьют двадцать пять раз?..

* * *

Любите вы лошадей или не любите, но конская колбаса—чудо послевоенной пищевой промышленности—вскружит вам голову, как доброму казаку необуздан-



ный красавец-иноходец, и вы сломя голову помчитесь эдаким всадником без головы в конец очереди, протянете свою заскорузлую правую лапу, чтобы на ней химическим карандашом вывели корявый трехзначный номер; вы срстетесь с этой цепью почитателей конного спорта, и гнев ваш будет справедлив, как и гнев впереди стоящих, когда какой-нибудь хмырь попытается пролезть без очереди; вы будете вспоминать все слышанные вами некогда анекдоты, пытаться убить время; клясть непогоду, притопывая коченеющими на холоде ногами, с вожделением мечтая схватить под уздцы свой килограмм донского жеребца.

Так вот что сильнее всего другого объединяет людей разных взглядов, происхождений, профессий и возрастов! — верховая, так сказать, езда, летящее под оголтелыми копытами оглушенное пространство, запах пота, сшибающий за версту, риск прыжка! Если ваш скаковой номер где-нибудь за триста, если вы в шесть утра не опоздали на перекличку, то к полудню вы успешно закончите это дерби и вскоре в желудке у вас будет с веселым ржаньем нестись аллюром неизвестной масти Пегас. Иго-го! «Все мы немножко лошади...»

Перед нами с бабушкой стоял капитан. Он был весел и молод, как положено быть капитану, только что вернувшемуся с передовой, из-под распахнутой шинели выглядывали ордена, подтверждающие, что смелость и отвага ходят с ним по правую и левую руку. Трудно даже представить, что такому герою тоже хочется оседлать килограмм вороной колбасы!

Держась за бабушкину руку, в толкотне, я нескромно рассматривал его, и было обидно, что я, недомерок, был ему незаметен в толпе. Кончалась колбаса, и бабушка волновалась, что зря простояли, а он и здесь, рискуя остаться без лошади, был спокоен и курил дорогие папиросы, и не было предела моему восторгу, и я не обращал внимания на бабушкины охи-ахи. Он был спокоен и прекрасен, приканчивая крепким каблукком окурок и тонко сплевывая сквозь зубы на грязный, недостойный его плевка, пол.

И вдруг моего капитана заслонила какая-то золотая, ласково лизнувшая меня в лицо лисица, бабушка отдернула меня, и я увидел стоящую передо мной, то

«есть перед моим капитаном, всю золотую женщину по моим понятиям, такие золотые не лезут без очереди и вообще таким не нужна колбаса. Золотая переливалась на ней, кончики золотых пальцев выглядывали из золотых рукавов, и золотые волосы лились на плечи.

Она подошла вплотную ко мне, то есть к моему капитану, и резко распахнулась — золото тела резануло глаза, померкло золото меха от золота двух полнолуний, над которыми золотел крошечный крестик...

И едва капитан выскользнул из обалдевшей очереди, сам обалдевший, как вышел небритый завмаг, отсчитал десять человек и проорал, что остальным конны не хватит! И я был десятым, последним. Одиннадцатой — бабушка.

«Все мы немножко лошади...» Ау, капитан!

Все неизменно — и что высоко, и что низменно, все как при Пушкине. Все мы несемся, несемся, несемся по жизни, кружась, все мы танцуем под голос кукушки вечный, никем не написанный вальс...

Заборы вырастали дружно, чувство своего, личного возвращалось к людям после всех разоров и спешно обносилось забором. Как во все времена на Руси, заборы ставились старым дедовским способом...

Формулы любви уже позже появлялись на этих заборах, когда люди помягчели, освободили себя от наростов войны для занятий заборной математикой. Полузабытая после пятилетнего невостробования Любовь расправляла свои самофракийские крылья, осеняя все возрасты, и не хватало места на заборах для этого великого уравнения с двумя неизвестными, и сбивались с ног свахи, и чуть ли не со всей улицы собирались ножи и вилки на очередную свадьбу. Не только свадьбы новые игрались, переигрывались и те, с которых жених уходил в приснопамятную ночь прямо из-за стола, из-под венца — туда, под терновый венец, во чисто поле, на ту святую рать, откуда не всем дано вернуться на свою прерванную свадьбу.

Но и такие были! И дни переносились на пять лет назад, и целовали выплаканные глаза постаревших не-



11005940
802 00110033

вест, и Верность возмещала все потери, и еще крупнее, чем пять лет назад, вписывали в заборные уравнения свои имена: «Витя + Аня = Любовь!», «Зоя + Коля...» «Таня + Вова...», «Галя + ...»

— Я люблю тебя, Люба! Ведь нам так хочется стать большими, что мы не по возрасту знаем все, волна Возрождения и нас вознесла вместе со взрослыми, раньше, чем надо, нас задело крыло этой птицы, и мы на заборе спешим решить свое уравнение.

— Нет, здесь не пиши!..

— Я напишу твое имя, а ты — мое.

— Давай... Вот здесь — достанешь? Вот над этим...

И крошится кусок известки в моей руке, царапает забор, и возникают наши имена.

...рвануться, рвануться, проснуться — вернуться в свое тринадцатилетие, оборвать за секунду до самого страшного это сновидение, повторяющееся ежегодно в ночь 21 июля, вырваться и выхватить из прошедшего времени, из заколдованных кругов вальса Любу, не выпустить ее загорелые, крапивой окрапленные руки, вырваться, в умопомрачительном сальто, выгнувшись до боли в позвоночнике, перелететь в мою родную, неутомонную, бестолковую и великую современность, поднести ее руки к губам и утвердить, что есть, все же есть среди запутанного шерстяного клубка насилий, позерства, обмана, есть шелковая, светлая ниточка любви, не однажды, может, оборванная и связанная, но есть — понять это кожей, по которой от счастья побежала муравьиная стая, повторить, как возле забора когда-то, «Я люблю тебя, Люба» — проснуться, проснуться, проснуться...

Каждый год, в ночь на двадцать первое июля...

...в тополином снегу молодой роши мы кружились на выпрямленных руках, вздымали белые сугробы, кто кого перекружит: полувальс — полунгра, от ее ситцевых васильков голубело в глазах и, кружась, за спиной пролетали добрые деревья, похожие на старых музыкантов, выгоревшие до белизны ее волосы задевали за веточки, ах как легко: раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три...

Я споткнулся о кочку, упал, хохоча по земле покатился, выскользнули ее золотые запястья из рук, хохоча — по траве, по июльскому снегу и, руки раскинув, застыл. На вершинах деревьев сидело кукушечье солнце. «Догоняй!» — донеслось до меня, я на локтях приподнялся — меж деревьев мелькал ее ситец, осыпая в траву васильки. «Догоняй!» — я привстал на коленях, и вдруг ухнуло что-то, и огненно-черным взметнулось столбом, обожгло, оглушило, опрокинуло тонкие елки, и лоскутики ситца, кружась, опали на обожженные ветки, и слетело с деревьев кукушечье солнце.

—Лю-ба-а-а-а!..

Сколько лет мне стоять на коленях перед тобою?
Сколько лет твоим именем полночь пугать?
«Догоняй! Догоняй! Догоняй!...»

* * *

«Здесь жио сапожник Шио — вино пио, сапоги шио».

Заикающегося после взрыва и гибели Любы, дед привез меня в изумрудный Тифлис, где птицы учились петь у людей.

Я долго говорил «Типлис» вместо «Тифлис», не подозревая, что близок к семантической истине.

Мы жили где-то на горе, возле голубого храма, у его старого друга, в доме, похожем скорее на ласточкино гнездо, чем на жилье человека. Один из многочисленных вариантов Пиросмани, Шио сам рисовал вывески для своей сапожной мастерской и своего приятеля, державшего маленькую хашную, двери которой были расписаны щедрой самодельной кистью Шио — из голубой глиняной миски валил густой пар, в котором плавали слова — «Дэньги — ваши, хаши — наши».

Бедность его жилища никак не соответствовала веселому нраву — и беспредельной щедрости хозяина. Шио считал себя поэтом и всерьез утверждал, что на том свете он отберет лавры у Шекспира.

— Скажи, Шекспир так сможет? — Здесь жию сапожник Шио, вино пио, сапаги шио! Здесь все есть, да? И балшой садержаний, да? И работа, да? И весело, да? И какой короткий слова, да? Сапаги шью — кушить надо, да? Умру — скажут: какой художник Шио, вах! Какой стихи, вах! Музеум поставят, нет? Сапаги шию — красики поуплю, сапаги — немного лаваша и вина, чтобы язык харашо разгаваривал, на стихи чтоб харашо, да? Тибя нарисовать буду, хочешь? Нет, нэ хочешь? Пэрсик, винагард, инжир забери — пакушай. Нэт? Жарко? Для Шио тоже жарко, а Шио сказал «джур» и харашо. Знаешь «джур», нэт? На русский называется вада. Скажи — «джур», э! Иди, забери Ашота, на фонтана иди пить «джур» — харашо будет...

Говорю «джур», и под языком становится прохладно, иду к Ашоту, лезу на дерево и палкой сшибаю чернильные сгустки инжира, они глухо падают к ногам Ашота, который ни слова по-русски не знает, который как раненая птица, припадая и волоча ногу, собирает инжир и мне что-то кричит, запрокидывая смеющееся, перекошенное болезнью лицо вверх — ко мне, к вершине дерева.

Ашота, сына Шио, скрючила неизвестная болезнь, выгнула ему горб на спине, руки повыворачивала. Ашота бояться, с ним никто не дружит и глаза его вдвое грустней, чем положено грустными быть по природе армянским глазам. Говорят, его сглазила бабка: Ашот учился играть на скрипке, радовал этим отца, стройный и длиннорукий прижимался он к скрипке щекой, прикрывая глаза, и выплескивал на вечернюю зеленую улочку звуки, нежные и щемящие, и отец тоже прикрывал глаза и плавно покачивался, положив загубленные руки художника на кожаный истертый фартук, и едва слышно шептал: «Лаф, Ашот-джан, лаф...» Да, сглазила его как-то бабка, мать Шио, злая была, говорят, играл Ашот, говорят, на скрипке своей, а она возьми и плюнь, говорят, в его сторону — «Чтоб у тебя руки отсохли!» — и в тот же момент выронил скрипку Ашот, нагнулся было за ней, да не разогнулся больше и скрипку не поднял, и рук не распрямил. Лежал после этого, говорят, полгода не подни-

мался, умереть, говорят, хотел, да смерть прибрала бабку, а не его.

Так и висит на стене под семейными фотографиями скрипочка та онемелая, висит над ашотовой постелью, сирота сиротой, и Ашот прыгает с тех пор, как скворец подстреленный, и все в доме Шио пошло с тех пор шиворот-навыворот. Давно, говорят, это было.

А что бояться его — он добрый, он похож на армянскую азбуку. Когда Ашот ходит по саду, он то на одну букву похож, то на другую, шагнет, обернется — новая буква, скрюченная, хрупкая, но живучая вопреки всем и всему. Живая азбука Ашота, джур — живая вода...

...а-а-а! — кричал я, не понимая где я и что я, летящий по ночному саду. — Лю-ба- а-а а! — а дедушка и Шио в ночных рубашках, как привидения, бежали за мной, растопырив руки, стараясь поймать меня, сбивая с деревьев ясные яблоки, натываясь друг на друга, хлюпая горбатыми носами и смахивая слезы с небритых щек.

— Лю-ба-а!.. — наконец я наткнулся со всего бега на дерево, расшиб лоб, упал, от боли пришел в себя и почувствовал, как от крика болят уголки рта.

Дрожащего, меня отнесли в комнату к Ашоту, поставили компресс на лоб, уgomонили, погасили лампу, ушли. Я остался лежать с Ашотом, под его скрипкой, он гладил меня по голове и что-то приговаривал непонятное мне, в котором мой оглушенный слух различал сквозь туман полубреда — Люба, Люба, Люба... Долго гладил по голове своим вывихнутым крылом, потом засветил в темноте улыбку, неловко привстал на постели, потянулся, сдернул скрипку со стенки и мне протянул: — Люба, Люба...

Пáрами, парами, парами, парами, парами. Ах, как летят за спиною деревьев литые стволы! Вальс, как и жизнь, продолжается, он неизбежен, руки Надежды легко мне на плечи легли.

Вон я — девятый, девятилетний — за руки, с Любой — кружу, беззаботно смеюсь... Вон я — тринадцать



тый, вон — восемнадцатый... Только бы музыка эта не оборвалась!

Сколько еще нам кукушка позволит кружиться? Вот закружили со мною Надежда, Любовь... Только бы, Вера, с тобою не разлучиться! Сколько еще нам осталось по жизни кругов?

Мальчишки-девочки, юноши-девушки... А дальше, а завтра? Женщины, женщины в нежных объятьях мужчин. Вальс, как и жизнь, оставляет круги под глазами. Ах, как смешно, что боимся мы этих морщин!

* * *

«Летят утки... Летят утки и два гуся...»

Сотни лет они летят, сотни верст небесных, всегда над нами, весной душу радуют, осенью—жалобят, всегда в небе, словно не знают они земли, знают одно — лететь. И я смотрел, и мать моя смотрела, и мать моей матери, и до нее все другие, от кого произошла моя мать, смотрели, забывая дышать, так долго смотрели, что из рода в род синели глаза.

Летят утки... И два гуся...

Поправила лучину, вздохнула, глянув мимоходом в зеркальце, синеглазка, затинула песню.

«Летят утки... и два гуся» — подхватила вторая и выдохнули все пряхи, свивая каждая свою тоску в одну песню — «кого люблю, ой, кого люблю, кого люблю — не дождуся...»

А утки летели, разгребая небо, не зная песни о себе, зная одно — лететь. Когда это было? Всегда. Дождались они своих суженых, или не все дождались, а утки летят. Летят утки. И два гуся...

...я свернулся клубочком на коленях у бабки, а бабка сидит спиною к печке, а в печке потрескивают два венских стула, нарубленные бабкой, темно в комнате, только красные лоскуты в поддувале кривляются. Тепло, темно, хорошо — дальше некуда, только есть хочется.

«Кого люблю — не дождуся...» — дотягивает бабка и раскуривает погасшую самокрутку.

Отец на войне. Дядька на войне. Тетка на войне. Полсемьи на войне. Полстраны на войне. Летят утки. И два гуся.

Они летят, те самые утки и те самые два гуся, уже другие ждут не дождутся своих других, а песня все та же, утки все те же...

Летят они, окуная свои крылья в красное небо, тяжело им лететь — они еще не знали такого красного неба, всегда в синем летали. Но надо лететь.

Бабка расстелила телогрейку на полу, ближе к печке, уложила меня, задремавшего, растворилась в комнатной квадратной темноте, а я глаза зажмурил, все смотрю — не посмотрюсь, как летят утки.

Ах, как летят! Не сбились бы с пути в темноте, давайте покажу вам, куда лететь, я маленький и легкий, возьмите меня.

И подхватила одна рябенькая на крылья, только вскинулись языки красные в печке, закричали, да бабка все равно не услышит, а услышит — не догонит, а догонит — не вернет...

Ах, как летят мои утки и два моих гуся! Что ни взмах — то день, что ни день — то год, уже и небо стало приходить в себя, синевой наполняться, и земля уже под нами не пугает огнем и грохотом, вон деревья нерасстрелянные поднялись и никто их не рубит, щепки не летят, и яблони уже зацвели, как еще не цвели на моей памяти, а вон и хлеб над окопами поднялся, как поднимались наши отцы, во весь рост, ах, какой хлеб, сколько хлеба, какая золотая земля!

Оказывается, люди умирают. То, что их убивают, я знал — я видел убитых наших солдат и немецких. Потом — Пушкина убили. Но то, что умирают, для меня — полная неожиданность. Просто так, сами, перестают улыбаться, дышать, умываться, читать книги, просто ложатся и — все. Никогда и ничего. А что же дальше?!

Оказывается, если нас не убьют, как Пушкина или красноармейца, мы все равно умрем. Все? Все. Нет, не сразу все. Когда-нибудь — бабушка, когда-нибудь — бабушка, когда-нибудь — я...

Нет, я не умру. Потому что не хочу. Умирайте сами, если хотите. Никто не хочет? А чего же вы тогда умираете?

До сих пор для меня неприменимо к человеку звучит понятие «умер». И особенно бессмысленно —

в грамматическом плане. Действительно: «съел» — потому что хотел есть, «прочитал» — потому что хотелось, «уснул» — спать захотел и уснул сам, добровольно и сознательно.

Но «умер» — как глупо и неправдоподобно это звучит, даже оскорбительно. Язык родной, как можно быть несовершенным столь, неуважительным к человеку в самый последний миг его жизни?

Когда покончил с собой, тогда другое дело — умер. Последний акт человеческого посещения земли должен называться достойно! Вся жизнь человека — это проявление его достоинства. Зачем же так недостойно в финале?

Я не умру. Меня покинет жизнь. Как скворец покидает скворечник. А без жизни я уже буду не нужен даже себе. То есть — я не буду, перестану быть.

Умер дядя Изя. «А скрипка?» — спросил я, но мне не ответили. Было странно видеть его не то чтобы неподвижно-бледного, а без скрипки у плеча. Я подумал: «Значит, скрипки не умирают...»

В Детстве всегда кажется, что жизнь бесконечна, как бабушкин клубок шерсти, из которого она вяжет мне варежки, тянет белую нить и вместе с ней из этого бесконечного клубка — нить сказок и песен.

Бабушкина нить Ариадны — вот благодаря чему я вышел из подземелья войны.

На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной... Кто ты есть такой?

Мы сидим на теплой от солнца броне рыже-зеленого немецкого танка, который в один прекрасный броневой день навсегда замер перед углом нашего дома, как бы уронив голову, словно кто-то дал ему подзатыльник. Его скоро свезут на переплавку, но бордюр мостовой, вдавленный в землю, долго еще будет напоминать о хищном лязге его гусениц.

...царь, царевич, король, королевич...

Из окна над нами выглядывает бабка, словно кукушка в часах, говорит, чтобы мы не ушиблись и, прилевая, исчезает. «На горе стоит изба, под горою —

танка. Немец курицу поймал — думал, партизанка, — доносится из окна ее припевка.

УДК 82.09
ББК 84.001.09

...король, королевич, сапожник, портной... Кто ты есть такой?

Я — Пёрышко. Так сказал мой краснознаменный отец, когда вернулся домой. Он поднял меня на руках и засмеялся:

— Пёрышко! Совсем как перышко!..

И еще потому, что во втором классе...

...он пошел сразу во второй класс.

Во-первых, потому, что первый класс был переполнен — семьдесят сявок вместо полагающихся тридцати двух, отчаянные учительки, которой даже очки не помогали углядеть за всеми. Во-вторых, потому, что в первом классе делать ему было нечего. Можно было сразу и в третий, но ростом не вышел. Да какая разница — всем с первого до четвертого выдавали перед большой переменкой американский бублик и пару желтых круглых конфет.

Бублики — детские спасательные круги, брошенные доброй рукой мисс Рузвельт.

Но кроме того, всем еще засаживали под лопатку жуткие уколы — то ли от тифа, то ли от хулиганства. Сачкануть от укола было невозможно. В дверях становился дебилый дворник и выпускал уже после укола, когда от обиды и боли хотелось залезть под парту, выпрыгнуть в окно.

Что за лошадиные это были уколы!

Очередную жертву поворачивали лицом к стене, задиралась рубашка, и в сгустившейся тишине раздавался короткий звук пропоротой тупым шприцем кожи. Слезы наворачивались даже у самых отчаянных смельчаков.

Когда он выдержал эту оскорбительную боль и хотел уже было опустить рубашку, врачаха перехватила его движение, скользнула холодной рыбьей рукой между острых лопаток:

— Пойди, у тебя к спине прилипло перышко..

Он не расслышал, как по классу пробежал нервный смешок, потому что дикая боль второй волной пробежала по всему телу, передернула, сотрясла, вы-



секла слезы — как будто из позвоночника резко выдернули все его тонкие нервные нити. На месте перышка проступила кровь, окрасила рубаху, тонкой струйкой скользнула вниз. Врачиха побледнела и сказала, что сама отведет его домой.

Ночью его трясло, как умирающего в пустыне от жажды бедуина. От дурацкого ли укола, от выдернутого ли перышка во всем теле полыхал гигантский пожар. Спина разламывалась с медленной, упрямой болью, как будто в обе стороны лезли из нее окровавленные, добела раскаленные перья и складывались, сбрасывая с себя кровь, в крылья. Сквозь бред он слышал холодное звяканье медицинских инструментов, их прикосновение к спине не вызывало никаких ощущений, кто-то поворачивал его голову, давал воды, поднимал веки, прикладывал компресс.

«...редчайший случай... да, будьте осторожны...»
 Через неделю он встал. В школе за ним закрепилась кличка «Перышко». А дед с бабкой и мать часто, как бы ненароком, старались положить ему руку на спину, или, обнимая, провести ладонью между лопаток, словно желая убедиться, что крылышки не вылезли снова.

Если бы можно было, я рассказал бы, чем отличаются крылья у поверженных ангелов и у того, кто поэт. Это не тайна. Но это неогласимо. Потому что нет слов на земле, чтобы назвать эту силу, которая не подчиняется ничему и когда ей заблагорассудится разворачивает, как лемех, спину и выгоняет наружу два светлых крыла, возносящих на высоту, недоступную ни черту, ни ультрасовременному самолету с геометрически изменяющимися реактивными крыльями.

Может, Квазимодо в горбу прятал крылья?

Где-то вскоре после этого стали бормотаться первые «стихи». Став Перышком, я их «придумывал», глядя на уроках в окно, или толкаясь со своими друзьями-голодранцами на базаре возле аттракциона кривых зеркал. Из тех «стихов» в памяти застряло единственное: «Кто папа, кто мама у гиппопотама? Ростов — папа, Одесса —мама».

Мне доставляло радость соединять слова как мне нравится.

Первое наказание — исключение из школы на три дня — было тоже связано со стихами. К удовольствию всего класса я написал на доске едкие строчки о нашей Роне Михайловне, преподавательнице зоологии. Естественно, что там была рифма Рона-ворона. Она обиделась и донесла на меня, потому что кроме меня никто не сочинял. Я был вполне доволен — и Рону-Ворону подстрелил, и получил три дня свободы.

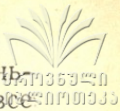
На Дону начался ледоход и я катался с такими же, как я, сязками на серых, толстых льдинах. Перепрыгивая с одной льдины на другую, можно было добраться до самой середины Дона.

Однажды меня, Таракана и Шурку Теплова с нашей улицы и, как потом выяснилось, незнакомую девочку отнесло на большой льдине на самый стрежень, и мы не смогли перебежать по другим льдинам обратно к берегу. Нас несло навстречу страшному быку железнодорожного моста. То ли мы в панике раскрутили льдину, то ли она в последний момент передумала и развернулась, нас пронесло мимо быка буквально в полуметре. Льдина была толстая, и мы плыли на ней еще километра три, пока нас не снял с нее любимый всеми трудолюбивый буксирный ледокольник «Фанагория». Мы, конечно, струхнули. Девчонка плакала и созналась, что она девчонка, а не пацан.

На другой день я сочинил «Оду «Фанагории». Участники ледового дрейфа одобрили ее, и Таракан, у которого был хороший почерк (Таракан, Таракан, Тараканище, прости, что я не помню твоего имени!), переписал ее на хорошей бумаге. Вечером мы пошли к причалу, где всегда швартовалась «Фанагория», и вручили оду капитану. Он спросил — кто написал? Шурка и Таракан ответили: «Да вот он, Перышко».

Прекрасно, что меня тогда никто не звал поэтом. Может быть, детская интуиция подсказывала, что этим именем нельзя дразниться?

Площадь Маяковского священна для всех поэтов моего поколения. В ранние шестидесятые годы желторотыми, широкоизвестными только в узких кругах, мы читали у памятника свои стихи. Там, на пьедестале у



Маяка, как мы его называли, есть уступ, вроде ступеньки, на который поочередно поднимались горлопаны, все в собственных глазах беспорные гении, и прижимаясь спиной к пьедесталу Маяка, словно ища в нем опоры, орали собравшимся свои стихи.

Это было здорово! Я помню до сих пор воздух тех лет — его цвет, его запах, его способность принимать и распространять Слово.

Напротив Маяка, на здании «Софии», теперь устроена громадная световая реклама. Она обращена ко всем, кто слушал тогда наши стихи, и к тем, кого тогда, к сожалению, не было с нами. Я не против рекламирования наших прекрасных фотоаппаратов и магнитол, но мне бы хотелось, чтобы именно на этой рекламе вечерами загорались стихи.

Вспыхивают и гаснут, сменяя друг друга, желтые красные, зеленые буквы. Красочное световое поле щедро осыпает прохожих. Когда оно гаснет на несколько секунд, на черном табло остаются гореть отдельные лампочки — красные, желтые, зеленые. В них нет никакой композиции. Они как огоньки вечности из темноты.

Это то, что останется от нас, от всех наших сочинений.

Слушай, мальчик рукописный! Если бы мы были с тобой двумя разными людьми, встретив тебя сегодня, я пожелал бы рукописному тебе только того, что было позднее — в возрасте уже не рукописном.

Чтобы трудно, но твердо складывались твои слабые, только так, чтобы разбегались вокруг твоего сердца годовые кольца.

Ты сумел набить шишки там, где набивало их все предшествующее тебе человечество. Ничуть не хуже ты умудрился обжечься на молоке, но не стал после этого дуть на воду. Тем более здесь, на краешке земли, на острове, входящем в группу островов Земли Франца-Иосифа — чего уж на эту воду дуть? И без того холодная. Считай, что тебе опять повезло, ведь трещина могла быть бездонной...

Мне опять повезло — трещина во льду, куда я провалился, не глубже пяти метров. Ау, Франц-Иосиф!

Вон куда занесло — к Францу-Иосифу, к чертовой матери! Когда я хлопнул дверью и от всей души произнес «К чертовой матери!», я не думал, что это так выглядит. Точнее не бывает!

Надо выбираться — на станции уже, наверно, ждут. Шмалять из карабина пока не будем, попробуем сами, с помощью ножа.

Сплошное кино. Только почему-то не страшно, а смешно.

С помощью ножа, вгрызаясь ногтями... Всего полтора часа...

И еще сидя на краю трещины, нахально свесив ноги в недавнюю ловушку, увидел свои руки. Разбитые в кровь пальцы и содранные ногти. Увидел — и сразу ощутил боль.

Но появился рукописный мальчик, трамвайный безбилетник, мальчик-улыбальчик, вытаскивающий из колоды памяти самые престранные карты, фокусник-картежник, мальчик-появляльщик, память-усмиряльщик, годы-тасовальщик.

...Трамвай был набит, как во все дни футбола, — по горлышко. Не ехали только на колесах. Те, что были внутри трамвая (первый класс), бесперспективно завидовали едущим на крыше (второй класс). Хоть курить можно! Висящие на подножках (третий класс) могли быне конкурса и не сходя с трамвая поступать акробатами в цирк.

«Динамо» (Ростов) — «Спартак» (Ереван).

Сегодня наш центр-форвард Гаврош Багателло, оставив в руках падающего защитника белые лоскутья грусов, рванется горбоносой птицей к спартаковским воротам и врежет под верхнюю планку! И сразу раздастся финальный свисток, и Гаврош подхватит мяч и будет целовать его, и толпа понесет на руках через весь город его — футбольного фараона — и оратория победы будет клокотать в глотках, пугая голубей и старух.

Трамвай набит, набит битком...

И вдруг я, втиснутый в угол, зажатый меж пояницей и жарким животом, вижу ногти — никогда до того и потом невиданные ногти — сантиметров пят-

надцать длиной, как два луковых побега, ногти, как у китайского средневекового императора—Ли Цзаньфу, они плавно, как две струйки дождя, втекают в задний, отгопырившийся карман стоящего рядом патриота ростовского футбола и...

И он видит, что я все это вижу, и ногти бесшумно выскользывают из заднего кармана и, как растопыренные лезвия ножниц, приближаются к моим, обмелевшим от страха, глазам. И неожиданно для себя я ору, жутко, беспомощно, и раздвигается вдруг задняя площадка, матросик уже стиснул его руку, заломил назад, и уже остановили трамвай, и без моего рассказа всем уже все понятно.

— Стричь ногти будем! — постановляет матросик, и трамвайная толпа одобрительно гудит, как римский стадион.

Стричь ногти?

Да, стричь ногти! Карманщика силой заставляют лечь на землю, просовывают между трамвайными колесами его императорские ногти, водитель дает сильно торжественный звонок, и срезанные ногти подбираются кем-то остроумным для приобщения к судебному делу как вещественное доказательство...

* * *

Не выглядывая из окошка, я знал, что творится на улице. Клавиатура уличного булыжника имела своеобразный настрой, и все движущееся рождало звук. Телеги угольщиков, демобилизованные полуторки, подкованные милиционеры, наши мамы на сбитых каблучках, протезы, самокаты и велосипеды с утра до вечера гоняли гаммы послевоенной мирной жизни.

Я любил слушать, как улица учится музыке.

«До-мой, до-мой», — звучали вечерами мамины босоножки, и этот звук я никогда не путал с другими.

Сапоги милиционеров старательно твердили две ноты «ми-фа», но слишком твердо и грубовато, так что у них получалось угрожающее: «Мы вам! Мы вам!...»

Я никогда не забуду ни наших голубятен, ни голубиной мостовой, ни джаз-банда наших ржавых велосипедов и самокатов на подшипниках.

И только звук тарахтящей по мостовой филимо-

новой коляски до сих пор горько звучит в моей памяти. Филимон, синеглазый богатырь с традиционным русым чубом, вернулся с войны без обеих ног почти по пояс. «Я теперь не Филимон, а Филипок», — шутил он. — «Я теперь самому себе вроде бюста, вроде памятника самоходного», — и похлопывал коляску с металлическими колесиками, ставшими частью его самого. Сильными рывками отталкивался он от мостовой, катя вперед свой торс на колесиках, и мостовая выкрикивала «до-ля, до-ля, до-ля», словно жаловался Филимон на свою долю.

Я не хочу, чтобы нашу улицу переименовывали, но если когда-нибудь зайдет об этом речь, я отдам свой голос за название — Улица Послевоенной Музыки!

Тяжелое летнее солнце, подражающее арбузу, сочилось на битое блюдо города, на трещину улицы, на меня с красной арбузной скибкой, подражающего играющему на губной гармошке. О, тяжелые черные семечки, прыгающие с моих губ, арбузная си-бе-моль среди грузных, нахальных мух, страждущих арбузного сока на щеках и локтях моих!

И вдруг звук — новый, далекий, невесть кем производимый, отвлек меня от арбузной губной гармоникки — звук, вдруг где-то рядом.

Он был неприятен своей непривычностью, незнакомостью, непохожестью на все, доньше слышанное моей улицей и мной. Что-то каменное с оттенками железного. Словно триста сизифов катили перед собой свои глупые камни.

И наконец он выкатился на нашу мостовую, мне под ноги, заполнил собой мои уши и следом глаза, и следом — глаза и уши всех его услышавших и увидевших — триста пленных немцев пыльно-зеленого, усталого цвета волокли ноги мимо окон и глаз нашей улицы. Новенькие гимнастерки на конвоирах были предельно зелены, и предельно строг был шаг каждого из них.

Они шли, пряча в землю глаза, и все равно было видно, что страх и позор заменили им глазные яблоки.

Они шли, свесив рыжие, черные, пепельные, молодые и старые головы, они казали свои пленные, заго-

ревшие под нашим солнцем выи в расстегнутых грязных воротниках своих кителей без знаков различия.

Их не было — знаков различия, рукой судьбы они были сорваны и брошены им под ноги, под сбитые на нашей земле, на моей улице каблуки, примешивающие металлический оттенок к звуку их шествия.

Уже они шли не только под конвоем красноармейцев, уже под конвоем всех — от мала до велика — живущих на улице: от неожиданности и первого гнева онемевшая толпа двигалась вместе с колонной, нарастала и уплотнялась, и уже появилась у толпы первая речь, колкое клекотание обиженных голубей, белыми перьями взлетали над головами слова проклятий и гнева.

— Спокойно, товарищи! Спокойно, — насупленно из-под лаковых козырьков осаживали толпу конвоиры.

Спокойно, мама! Спокойно, тетя Лиза! Спокойно, обездоленные, овдовевшие, осиротевшие, спокойно! Они больше никого не коснутся, никогда и никого. Спокойно!

И только Филька на колесиках зашелся, как в падучей, горем и гневом опрокинутый на спину, только Филимон с пеной у рта русой головой колотится о мостовую, и крутятся, жужжа, его четыре ослепительных на солнце подшипничка...

Мы к ним скоро привыкли: через неделю-другую. В восьмом часу вечера звук их шествия вкатывался в улицу, а вскоре появлялись и сами «гансы». День за днем, постепенно, они становились принадлежностью улицы и нашим, мальчишеским развлечением.

Через месяц мы знали их в лица: Очкарик, Гусь, Колода, Хлястик, Рыжий... Властью детской игры нам было позволено вприпрыжку бежать около, сопровождать их до круто уходящего к реке Соляного спуска, в низине которого прятались за колючей проволокой их бараки.

Они отстраивали то, что они разрушили. Штабс-капитаны и ефрейторы, летчики и снайперы, они вынуждены были обрести новые специальности каменщиков, штукатуров, плотников, маляров.

Мне нужна была школа. Постройте мне школу!

Уже откипели души взрослых, уже проблесками

сочувствия освещались лица старших, в который раз подтверждая, что отходчива русская душа.

— Небось, их бабы тоже страдают, ждут...

— Да и невиноватых среди них много.

— Нечего было своему Адольфу молиться, невиноватые, тоже мне!..

— Жалкие все равно они, какие-то жалкие...

А мы уже наладили отношения с конвоирами, прищипываем рядышком, приплясываем, да уже и не шахраемся, как от крапивы, когда кто-нибудь из «гансов» украдкой гладит нас по головам. «Киндер, киндер!»

Мы сшибаем чинарики «Беломора» и «Примы», высыпаем из них остатки табака и меняем с «гансами» на деревянные пистолеты, стреляющие вишневыми косточками.

Да и ломтика хлеба для этого не жаль, но с хлебом туго пока, еще не взошел наш хлеб на удобренных войною полях.

А пистолеты деревянные хороши, и коричневый, выжженный раскаленным прутком ствол смачно пахнет горелым деревом.

«До деревянных пистолетов докатились...»

И вот иду я, сжимая свой березовый маузер, иду метрах в пяти сзади конвоира, шлепают мои веселые, латанные-перелатанные сандалии, справа рота сизифов катит свои горькие камни. Весело и почетно мне на моем самозванном месте.

И вдруг один из пленных как-то неловко, кособочась отшатывается влево, пригибается и...

И я, вскинув свое деревянное оружие, ору до зова в собственных ушах:

— Стой! Руки вверх!

И вся колонна каменеет от этого дикого дисканта, останавливается как вкопанная и замирает, воздев руки!

Это я позже пойму, что у одного из пленных развязался шнурок, на который он наступил и чуть не растянулся на булыжниках, это позже я расплачусь над собой и без вины виноватым «гансом», а сейчас вся колонна стоит с поднятыми руками, и ржут краснощекие красноармейцы, и не растворился еще в воздухе мой приказ: «Стой! Руки вверх!».

Что же вы стоите и через тридцать лет, все да-
но уже кончилось, опустите руки, идите домой, Очка-
рик, Гусь, Колода, Хлястик, Рыжий... И все остальное
— опустите руки, идите домой...

* * *

Я собрал все полученные мною на выступлениях и встречах записки — приличный бумажный стог. Отобрал из них записки с вопросом «Как стать поэтом?» — приличная копна.

Ежедневный вопрос. Ежечасный, ежесекундный. Ежусь, когда его слышу. Не знаю, не спрашивайте. Сам себе задаю его ежедневно. Потому и пишу эту «презренную прозу».

Можно подумать, что в России — страшная нехватка в поэтах. Невероятные вакансии. «Объявляется конкурс на замещение ролей Пушкина, Тютчева, Есенина...» Прочитал недавно новые «Стихи о прекрасной даме» одного из многочисленных ныне Блоков — женоненавистником стать можно. Шлако-Блок!

Даже если я знаю — как стать поэтом, то я это знаю для себя. Потому и пишу эту «презренную прозу». Не верите — по глазам вижу, что не верите.

Хорошо, я открою секреты. Я все скажу. Только для вас. И никому больше. Вдохновение, да, конечно, нужно, но никто не знает, что это такое. Нужно знать (только больше никому не говорите!), что Земля имеет форму чемодана. Ей-богу! Что она круглая, это знают все, даже отставшие в своем научно-техническом развитии аборигены солнечных берегов. Но вся штука в том, что Земля имеет форму чемодана, а об этом мало кто знает. Мне эту тайну поведал лет двадцать пять назад великий мастер карманного жанра, долго глядевший за это свое мастерство сквозь крупную клетку, знаток женщин, карт и семиструнной гитары, уроженец Тьмутараканска, некоронованный король Полинезийских островов Сеня Самогон.

Он взял гитару и так проникновенно спел собственного сочинения песенку, что я запомнил ее на всю доставшуюся жизнь. А пел он, татуированный ангел, о том, что для него можно все уложить в чемодан — часики, туфельки, цепочки, муфточки, колечки да монетки — все, сколько есть на Земле. То есть всю

Землю. Так он видел жизнь, так понимал ее. По-своему, индивидуально. Потому и смог написать знаменитую песню.

А вот, к примеру, Федор Иванович Шаляпин, который песен не писал, а только пел чужие, тоже был такого же мнения. Во всех своих путешествиях возил он с собой по всем отелям небольшой чемодан, который не позволял брать в руки даже самым услужливым на свете швейцарским швейцарам. Говорили все в один голос, что в этом чемодане хранит Федор Иванович весь свой капитал, все драгоценности.

А потом обнаружилось, что чемодан был полон — до краев! — землей, родной русской землей, самым драгоценным, что было у Шаляпина.

Гениально, как горизонт!

Так какой, я спрашиваю вас, формы Земля?

«Кто как заупрямится, тот так и живет», — сказала бабка, не сознавая, что эти слова в моем надвигающемся завтра будут важнее, чем псалмы для богомолки.

А я заупрямился, что Есенин не вредный. И книжку запрещенную не отдал — перепульнул под партой, сывки спрятали. Ну и вышибли меня за «вредного» Есенина на неделю из школы. А повинился бы на собрании, пустил бы сопли, разжалобил — не исключили бы из школы, мамашку не таскали бы по педсоветам. Так нет, заупрямился. И Кочубея оскорбил. Но не я же первый оскорбил его, кретина красномордого, который сам-то на трояк знает математику. Не скажи он, что Есенин — дерьмо, и я бы не сказал, что он сам — дерьмо.

Какой бы перед вами ни был Кочубей, не позволяйте оскорблять поэта. Конечно, если хотите стать поэтом, а не Кочубеем.

Кроме поднятого им хипиша, Кочубей еще ко всему прочему вкатил мне три двойки за четверть — по алгебре, геометрии, тригонометрии. Четвертую пару вкатил историчка. Но если Кочубей был недалеко от истинной оценки моих знаний, то историчка...

Я до сих пор настаиваю, что она не права! Правя, потому что я знал все, что она спрашивала о Зевсе,

и лаконично — она же сама просила лаконично охарактеризовал Зевса. Я сказал, что Зевс — тупицкий бабник. Европу он похитил, превратившись в быка, это раз. Уже не говоря о том, что похищение поступок безнравственный. К Леде он проник, понимаете ли, в виде лебедя, это два. А как втемяшилось ему в голову завладеть Данаей, так он, фокусник, золотым дождем прикинулся и подмочил репутацию бедной Данаи.

Разве не бабник Зевс после всего этого?

Четыре двойки за четверть, как четыре черных лебедя,плыли в моем дневнике. Им не страшен был небывалый мороз, от которого в домах промерзали стены.

В конце прошлого века жил-был латышский поэт Янис Порук — добрый, чувствительный, умный. Он спросил однажды и навсегда себя и всех после себя: «Столько ли слез у тебя, чтобы ты был поэтом?»

Это тоже я по секрету, тоже только для вас.

Когда еще не было электричества, пользовались свечами. Когда еще не было моторов, тяжелые грузы перевозили на лошадях. Потом придумали моторы, потом родилось электричество. Появились единицы измерения — сто лошадиных сил, лампочка в шестьдесят свечей. Удобно, но огрубел язык. И обидно за свечи и за лошадей. Хорошо, что еще не додумались до единицы измерения печали, а того гляди -- и самого человека.

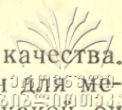
Печаль в тринадцать журавлей...

Человек неизмерим. При всем его несовершенстве. Метафора его не измеряет, а характеризует. Самая сильная метафора — это Человек. Самая высокая мерка, самая большая единица измерения — Человек.

Костер — Человек. Человеколюбие.

И самая низкая единица, самая черная метафора — бесчеловечность. Мне даже жаль слово, которое обозначает это понятие.

Поэт — это Человек, обладающий светом в сотни свечей. Желательно, чтобы при этом он обладал хотя бы шестьюдесятью лошадиными силами.



Разлом времен резко выявляет все эти качества. В том числе и бесчеловечность. Разлом времен для меня равнозначен разлому хлеба, когда видно, какой он выпечки. Хлеб — характеристика Времени. Я ел и горький — с лебедой, и с отрубями, и с опилками...

Однажды, прямо на базаре, мать разломилла хлеб...

...он сидел, как кум короля, у плетеной корзины, в которой мерцали золотые слитки черного хлеба. Еще не все поля очнулись от войны, еще не вся земля рожала. И с хлебом было плохо, очень плохо. А когда нет хлеба, то хочется только хлеба и ничего на свете больше.

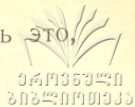
Он брал и золотишком с пальцев, и за деньги продавал. За большие деньги. Бабы вздыхали, журились, что дорого, но покупали на троих, на четверых буханку, уносили ее бережно домой — детям. Мать приискала двух баб, решили собрать втроем на буханку. Одна баба была рябая, из Азова. Она щелкнула большим складным ножом — «Сейчас и поделим, подружки».

Взяли буханку, и мать попросила ломануть корочку для меня — так, наверно, горели мои голодные глаза. Стошли рядком, отломали мне, рябая достала нож. Я жадно откусил, и рот мой заполнился чем-то вязким, безвкусно-противным, заставившим меня сплунуть. Но мать не успела ни спросить меня, ни тем более отругать — рябая разрежала буханку, разъяла ее на три части, и шестеро женских глаз не хлеб увидели — глину.

Он сверху был хлебом и глиной — внутри. Все длилось мгновение — и вопль рябой, и хряп ее крепкой руки по лицу подлеца, и бабье рыданье с причитаниями, и хрип его о пощаде. Он лежал в базарной пыли, уже не пытаюсь увернуться от ударов, в рассыпанных деньгах, дергаясь, охая, и жидкая глина текла из него отовсюду, откуда должна течь кровь. Толпа разъяренных баб забила его сапогами, и не было в мире силы, способной унять их справедливый суд. Он лежал, как грязный тюфяк, среди своих глиняных хлебов, и никто не хотел его убирать. Говорят, потом урки убрали...

Неужели до конца жизни я буду вспоминать это, разламывая хлеб?

Попробуй забудь!



Что такое Поэзия? Это — мольба.

Мольба о Человеке.

В маленькой церкви Кашуэты, где благодаря фрескам Гудиашвили можно молиться во здравие всего Искусства, вначале смутно, а вскоре все светлей и отчетливей вас посещает чувство, что вы ближе к себе, чем к богу. Не смущайтесь этого чувства — это и есть близость к богу. Можно даже не ставить свечи Богородице или Николаю Угоднику, не шептать обрывки ритуальных молитв, застрявших в вашей памяти, но если ваша душа еще не окончательно парализована атеистическими препаратами и не взята в переплет, то помимо вашего сознания и желания ваш Дух вначале по слогам, а потом соединяя отдельные слова в стройные фразы, начнет монолог, и это будет ваша мольба.

Она напомнит вам о самом себе, о всех ваших дорогих, крупинки которых входят в состав вашей крови, и когда пламя вашей мольбы разгорится и обретет способность объединить вокруг себя сотни и тысячи мерзнущих от одиночества людей, это будет мольба о Человеке, это будет Поэзия.

В распахнутые двери правого портала входили молодые лучи солнца. В храме пахло весной. На этот запах крестьяне с фресок Гудиашвили, исполняющие обязанности святых, раздували ноздри и светились свежими красками желаний сойти на землю. Может быть, по ночам они и покидали полукружия куполов, ходили по виноградникам, копали землю, качали спящих детей, умывались водой родных родников и к утру возвращались, сияющие красками здоровья и вечной жизни.

Весенний воздух легко покачивал язычки свечек, обращаясь с ними, как со своими цветами. Люди заслоняли их ладонями — они словно брали в пригоршни свет и умывались им, погружаясь в мольбу.

Внезапно все обернулось — словно звякнули солнечные лучи. В храм вошла девушка, лица которой я

не могу описать. Оно было преображено светом, давящейся в ней мольбы, с которой она уже и вошла в Кашуэты, и земная ее красота, на которую наверняка оборачиваются прохожие, была одушевлена до божества.

На божество и обернулись все.

Мольба, вероятно, в ней началась давно и вызвана была, наверно, горем, потому что она зажгла свечу там, где горят они в память о покинувших нас. Может, кто-то из близких, а может, любовь, оставили ее — никто не узнает, что за чувство заставило вызреть и расти в ней, хрупкой, как гранатовое деревцо, такую светлую и неистовую мольбу. Она не замечала никого, кроме свечи. И ни на что нельзя было смотреть, кроме как на ее лицо. Оно издавало почти звучащий свет, несильный, но такой чистый и ровный, который пронизывал всех стоящих вокруг, разливался по иконам, смывая блеск позолоты, и медленными волнами достигал стен храма. Стены впитывали свет и становились прозрачными. Постепенно исчезли люди, иконы, фрески, стены, я видел только разливающийся по всему полушарию свет и ее, собравшую вокруг своей мольбы человечество, имена которого перебирал голос ее мольбы, как лучшие на белом свете слова.

Суровые нити человеческих болей входили в нее, и она ткала одежду, защиту душе. Ни разу не подняла она глаз, ни разу слух не уловил слова, но уста ее роняли лесные и полевые цветы человеческих имен, потому что только при звуке имен так легко колышется пламя свечи.

«Анна — Ираклий — Медея — Тенгиз — Петре — Марина — Натэла...»

Я вздрогнул, узнав свое имя. Мне стало легко и светло, и стены сомкнулись, оставляя меня с самим собой.

А ее мольба продолжалась. Неистово и светло.

Спасибо, что ты есть на свете, в людях, во мне. Ты, именуемая Правдой! Спасибо, что Ты устроена так, что не обойдешь тебя и ничем не объедешь, ни конем не обскачешь, никак не околпачишь. Разными путями идут к Тебе, шатко и валко, криво и прямо. Но все дороги ведут к тебе, Правда! Спасибо, что Ты

покровительствуешь мне и не позволяешь умолчать том, что было.



Летят утки, летят, летят мои утки. Летят утки и два гуся. Что еще я должен увидеть из-под крыла? Леса зеленорукие, озера синеюкие, овраги краснотубые, лицо земли...

И ты среди лесов-озер была как родинка на лице земли, и снизились утки, опустили меня рядом с тобой, и развязал я твой славянский платок, выпустил на волю твои волосы, захлебнулся их золотой волной, и земля под нами кренилась, как под матерью и отцом накануне меня. Лес хранил нас, дав право на тишину, и ночь торопилась пройти поскорее, чтобы я мог видеть тебя, хотя я видел тебя и во тьме.

Сколько раз от волос твоих начинало светать, столько дней я обрел. Я пел Тебя, и это нравилось земле. Я пел Тебя, и встречные женщины улыбались, принимая песнь Тебе за песнь им всем, потому что каждая женщина хочет быть воспетой. В березняке и на асфальтовых площадях я пел Тебя, петь означало — жить, жить означало — петь. Чему ты меня научила — жить или петь? Всему.

А где-то в забытом нами небе летели в своем неустанном полете утки и два гуся. Мы ни разу за это время не видели их. Но они были всегда. Иногда я чувствовал по ночам у лица моего их крылья, но руки твои заставляли меня забывать обо всем, даже о крыльях.

Но однажды в осеннем лесу, где мы встретились, мы услышали — утки летят. Мы узнали их сразу — по голосу.


«Летят утки!» — кричала ты, порываясь в сторону леса.

«Летят утки!» — я кричал, порываясь в сторону поля.

«Нет, не там! Нет, не слева, а справа...» — и ты побежала, приминая траву, обнимая березовые стволы.

А я, задрав голову, бежал к полю, взгляд спотыкался об облака, и никак я не мог их увидеть.

И разнесло нас в стороны, разъединило лесом, отгородило полем, отбило ветром, а потом и листвой и снегом следы замело, отсекала друг от друга белым взмахом косматая вьюга. Ищи — не ищи...



Я не знаю — увидела ты или нет, как летели над лесом два гуся и утки. Я увидел. Они меня тоже увидели, обронили по перышку, подарили крыло.

Летят утки...

Мы живем на земле, на которой мы жили с тобой. На земле, где хватает места и людям, и растущему хлебу. У каждого из нас есть место на земле. Есть оно у тебя. Есть оно у меня. Всем и всему на земле свое место. Нам с тобой нету места на нашей земле. Порознь — есть. Вместе — нет. Какой тесной стала земля!

А над нами летят утки. Летят утки и два гуся.

Спеленутые их полетом, крепко прижались друг к другу два полушария.

Я уже не умею жить, чтобы не петь.

Летят утки...

В лесу или в городе, мы далеко друг от друга и мне хочется, чтобы ты устояла на крутобокой земле.

Летят утки и два гуся...

Летят они, ничего не зная о нас, но, может, потому и есть мы до сих пор, что разнесенных в стороны ветром, рассеченных вьюгой, нас соединяет их полет крепче суровой нити, вернее любых уз, и даже лезвие горизонта не может перерезать эту нить-невидимку, светящуюся паутинку, что ни тебе, ни мне не порвать.

Летят утки. Может, только ради этого они и летят.

И два гуся. А земля свистит на поворотах, убыстряется, царапая о звездный шиповник крутые бока.

Кого люблю — не дождуся...

* * *

Она мне мерещилась в тьмутараканских ночах, ходила около меня спящего, звала глазами, тянула ко мне боттичеллевские свои руки, обещающе улыбалась, звала за собой—Слава.

Кто не жаждал ее, пусть начинает жить сначала. Кто добился ее, пусть начинает жить сначала. Пусть начинает жить сначала всяк, кто не добился ее!

Гуд бай, май лав Тьмутараканск! Ариведерчи — ауфидерзейн! Кто как заупрямится, тот так и живет. Я целую твою мозолистую руку, Тьмутараканск, пальцы которой унизаны бриллиантами писавшей по-французски твоей прабабушки. Ку-ку!

В большой деревне, именуемой Москва, восходят /
молодые звезды моих будущих друзей — поэтов, художников,
дожников, актеров.

И Слава обещала быть моей.

Я буду спать на вокзалах, ездить в трамваях без билета, дружить с бездомными собаками, превращать последний рубль в сторублевку. Голова моя будет полна стихами и фантастическими идеями, а желудок фантастически пуст. Но это только поможет мне, хлюпающая мокрыми дырявыми туфлями, разбегаться и взлетать над планкой, поднимать ее выше и снова разбегаться и взлетать до тех пор, пока Слава не протянет мне свою волшебную руку, чтобы идти под венец.

Молчи, Тьмутараканск, возьми назад свои слова: «Погоди, еще страдаешься пуще вещего Нострадамуса!» Я отменяю все плохие приметы. Вся жизнь — вопрос «Как стать поэтом?».

Что же она такое — Слава? Мне кажется, я могу ответить на этот вопрос.

Слава — это божественной красоты женщина, если вы ее ждете и жаждете. Безукоризненная в вашем представлении. Но у нее больные ноги, ей трудно ходить, подагра не позволяет ей прийти к вам вовремя.

А если ваши шаги по жизни стремительны, уверены и благородны, она начинает семенить за вами, торопиться, шкандылять на своих подагрических, но вечно божественных ногах, устало и бесполезно крича вам вслед, умоляя подождать ее, не бросать одну на безлюдной дороге.

Если вы дождетесь ее, подадите руку, дабы могла она опереться, вы пойдете медленней, чем вы способны ходить. **Не ждите ее, не останавливайтесь.**

И последний секрет — она прекрасна, когда идет одна, свободно и неторопливо, дабы никто не увидел, что ей трудно ходить. Но едва она возьмет нас под руку, она меркнет, нездоровые синие круги проступают под глазами и вянет ее белоснежная кожа.

Она прекрасна лишь издалека. И пусть она плетется всегда позади вас — ваша Слава.

...Город, в который я приезжаю плакать. Нет, не размазывая слезы по щекам, а плакать слезами в себя, внутрь.

Где моя голубятня?

Сизари, турманы, почтари и пара белых, за кото-
рых я отдал настоящий футбольный мяч, где они, Не-
бо? Я еще смогу посвистеть в два пальца, стоя с ше-
стом на припекающей пятки соседской крыше!

Где мои соседи, которым я перебил столько сте-
кол? Я, может, затем и приехал, чтобы вставить все
стекла!

Где мое дубровское дупло с долгожданной запис-
кой о встрече?

Где моя школа? Я хочу сдать главный экзамен и,
кажется, в первый раз без шпаргалки. Где мои шпар-
галки?

Где мое Все?!?

Не прячься за дерево, выходи, я не хочу играть в
прятки. Давай я закрою глаза и посчитаю до десяти,
а ты выходи, мое Все. Я обниму тебя, и снова будут
голуби в небе и ручьи и запах акации, и мы раско-
лем, как арбуз, это лето, и будем упиваться красными
ломтями, похожими на трофейные губные гармошки,
и беспричинно смеяться, не прячься за дерево, выходи!

Нет моей голубятни, съехали соседи, спилили ду-
бровское дерево, школу снесли. Скрути жгутом и за-
пали факелом свой аттестат зрелости, бегай, ищи-сви-
щи, только тройки-четверки с пятеркой за хулиган-
ское поведение будут трещать и капать горячей смо-
лой на новенькие асфальты.

Плач-Город, Свет-Город, Поцелуй-Город.

У слепого старика, выстукивающего палочкой мою
улицу, я не спрошу диагноз. Я сам знаю, что случи-
лось. Ничего не случилось. Это новый виток вальса,
под который одни — быстро, другие — медленно, мы
кружимся, и мало ли что мне хочется погонять голу-
бей. Но если я проживу столько, сколько мне хочет-
ся прожить, я постараюсь не приехать к тебе, Свет-
Город, потому что к тому времени душа моя, как ска-
зал один мой друг, будет полна слез по самые очи, и
нельзя больше будет плакать слезами внутрь себя, и
они хлынут из переполненного меня по морщинистому,
как серебряный тополь, лицу.

Смотреть — видеть — обидеть — ненавидеть —
зависеть — терпеть — вертеть. Смотреть — видеть...

НЕОБЫЧНАЯ

ГОСТЬЯ

● *Фантастический рассказ*

ГИГО, студент Московского авиакосмического института, приехал на каникулы к родным в Тбилиси. Верный многолетней привычке, он решил отдыхать на даче в Цхнети.

Позади остались напряженные студенческие будни со взлетами и падениями, интересная производственная практика на орбитальной станции.

На всю жизнь запомнил он мгновение, когда все 25 ребят IV курса факультета космической технологии при полете на космическом корабле одновременно ощутили состояние невесомости. С удовольствием вспоминал он международную студенческую научную конференцию по возможным контактам с внеземным разумом, проведенную на базе его института. На конференции успешно выступила с докладом Майя Иванова, студентка II курса. Ее доклад о системах жизнеобеспечения будущих трансгалактических кораблей для полета в иные галактики был встречен с большим интересом. Доклад Гиго был посвящен проблемам межзвездного космического производства.

Майя — любимая девушка Гиго. Он рассказывал ей о Грузии, о родительской даче в Цхнети, о привычном маршруте прогулок по улицам селения.

После заключительного пленарного заседания конференции дед Андро, специально прилетевший в Москву на конференцию, пригласил его с Майей в ресторан на 21-м этаже гостиницы «Россия». Неожиданно дед Андро, наполнив бокалы золотистым «Гурджаани», предложил тост за дружбу с инопланетянами:

— Встреча с внеземным разумом, с другим интеллектом, — говорил он, — вопрос лишь времени, и к этому моменту, мои дорогие, как вы знаете, юристы разрабатывают основы «Метаправа», под которым понимают совокупность правовых норм, регулирующих отношения между различными цивилизациями во Вселенной, ибо земные законы неприменимы для космоса. Зо-

лотое правило «Метаправа» гласит: «Мы должны относиться к другим так, как они хотели бы, чтобы мы к ним относились». Однако, чтобы психологически подготовиться к встрече с инопланетянами, мы, земляне, должны научиться относиться друг к другу по золотому правилу «Метаправа». За дружбу с инопланетянами!

Гиго вспоминал все это, сидя после ужина на веранде цхнетского домика. Селение уже начали окутывать сумерки. Было необычайно тихо...

Рокот, знакомый Гиго по космодрому, привлек его внимание. Он присмотрелся и заметил, что в глубине сада приземлился космический миникорабль. Открылся люк, и по ажурному трапу спустилась Майя Иванова. Гиго кубарем скатился с лестницы и бросился к ней.

— Майя! Вот это сюрприз! Как ты появилась на космическом корабле, да еще здесь, в Цхнети?!

— Я не Майя, Гиго... Я — инопланетянка. Я приняла образ Майи Ивановой, чтобы передать тебе, Гиго, достойнейшему из землян, послание моей родины — планеты Имеди*. Мы, имедиане, любим нашу общую родину Землю-Деметру и с возрастающей тревогой наблюдаем, как вы, земляне, небрежно относитесь к ней.

Гиго пригласил гостью на веранду, усадил в кресло, налил ей бокал вина и пододвинул вазу с фруктами.

— Мир тебе, твоему дому, нашей родной планете Земле-Деметре, милый Гиго! — сказала инопланетянка, протянула Гиго голубую папку с посланием жителей планеты Имеди и стала рассказывать: — Мои далекие предки жили на Земле в цветущей стране Атлантиде. Высочайший уровень науки в стране позволил ученым предсказать надвигающуюся катастрофу — погружение Атлантиды на дно океана. Тогда они начали строить космические корабли, чтобы покинуть Землю и избежать гибели.

— Как? Значит, легенда об Атлантиде имеет реальную основу, и атланты были космонавтами? — воскликнул Гиго.

— За два года до катастрофы все население Атлантиды на громадных транспортных космических кораблях с околосветовой скоростью перебралось на планету внесолнечной системы, которую назвали Имеди. Климатические условия жизни на планете оказались такими же, как на Земле. Поэтому атланты быстро прижились на планете. Население стало увеличиваться. Образовались отдельные государства. Высокий уровень науки, техники и

* Имеди — по-грузински надежда.

культуры, перенесенный с Атлантиды на Имеди, привел к небывалому расцвету.

— Наконец давнишний спор о возможном существовании внеземных цивилизаций решен в мою пользу. Я всегда был убежден, что мы, земляне, не одиноки во Вселенной, — воспользовавшись короткой паузой гостии, с удовлетворением проговорил Гиго.

— Однако, — продолжала инопланетянка, — имедиане, также как и земляне, наделены общими генами, которые вызывают агрессию, нарушающую социальную гармонию. На какой-то стадии биологического развития человека эти свойства были выгодными. Но позднее они стали приводить к войнам. Имеди пережила несколько разрушительных ядерных войн. И каждый раз почти все население планеты истреблялось, уничтожалась вся цивилизация.

— И каждый раз, — перебил ее Гиго, — приходилось начинать все с каменного века?

— Да, — ответила инопланетянка, — действительно, все приходилось начинать с каменного века. В очередной период научно-технического прогресса, когда зловещая угроза ядерной катастрофы вновь нависла над населением Имеди, возникла идея биологическим путем создать нового гуманного имедианина. Решение этой задачи могло иметь важное значение и для человечества, населяющего Землю-Деметру. И вот, наконец, было изобретено замечательное средство генетической инженерии. Ведь, как известно, и на Земле сочетание слов «инженерия» и «генетика» показывает, что биолог, подобно творцу новой техники, может придумать идеальную биологическую модель, а затем воплотить ее в реальность, целенаправленно создавая любой живой организм с заранее заданными необходимыми свойствами. Ученые планеты Имеди создали для генетических инженеров по их техническому заданию источник излучения, названный Источником лучей добра и умиротворения. Благодаря этому облучению из душ имедиан навсегда были изгнаны чувства злобы, зависти, заносчивости, болезненного честолюбия, жестокости, воинственности. В последующих поколениях эти чувства полностью атрофировались у имедиан. Генетический код запрограммирован таким образом, что малейшие чувства злобы, зависти, заносчивости вызывали тошноту и головокружение, а одно лишь стремление к порабощению другого могло вызвать смерть.

— А не было попыток уничтожить источник излучения? — спросил Гиго.

— Даже при одной мысли ликвидировать Источник лучей добра и умиротворения наступает мгновенная смерть, — ответила

инопланетянка и продолжала:— Воздействие лучей добра и умиротворения не было насильственным, а наоборот, вызывало громадное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Все последующие поколения имедиан испытывают огромное счастье, совершая добрые дела. Дети наши рождаются уже добрыми, отзывчивыми, без зависти, злобы, воинственности и остаются такими на всю жизнь. Мысли о добре укрепляют здоровье, а мысли о мире продлевают жизнь. Но, как показывает вся история землян и имедиан, в формировании личности важнейшую роль играет общественное сознание. Взаимоотношения имедиан между собой основаны исключительно на дружелюбии, взаимном уважении и любви. Например, дискуссии проводятся по принципу, известному на Земле-Деметре под названием «мозгового штурма», когда каждый из дискутирующих ищет в рассуждениях другого положительное решение, положительную мысль. Каждый имедианин стремится перещеголять другого в любезности, проявлении дружеских чувств. В результате это:о уже в первом после облучения поколении имедианье стали жить в добром согласии, и с тех пор все средства, затрачиваемые на войны и подготовку к ним, идут на благо жителей планеты. На нашей планете царят мир, экономическое благоденствие, социальная справедливость и экологическое равновесие. Миропорядок у нас организован на социалистической основе, ибо, как известно из истории землян и имедиан, социализм неизбежен. Это является духовной основой, социальной средой развития высоконравственных, гуманных личностей.

С большой тревогой наблюдаем мы, имедиане, за военными приготовлениями на Земле-Деметре. Жизнь на вашей планете — вещь хрупкая, нежная. Земляне обязаны очень бережно относиться к ней, охранять и защищать родную планету — нашу общую родину Землю-Деметру. Зная из имедианской истории, к чему приводят ядерные войны, мы решили сделать доброе дело и вмешаться..

С этими словами инопланетянка раскрыла голубую папку и достала оттуда схему Источника лучей добра и умиротворения, подробную производственную инструкцию, изложенную на всех языках Организации Объединенных Наций.

— От тебя, Гиго, зависит, как скоро сумеешь ты внедрить в практику предложение имедиан!..

...Продолжительный телефонный звонок разбудил Гиго. Звонила Майя из Москвы.

Гурам АСАТИАНИ

О ГРУЗИНСКОМ

 ОПЫТЫ (НЕСКОЛЬКО ПОПЫТОК) ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОГО, КАК В ЛИТЕРАТУРЕ И В УСТНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ГРУЗИНСКОГО НАРОДА ВЫРАЗИЛИСЬ ЕГО ХАРАКТЕР И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ МИРА

Как мы видим, здесь перечислены в основном достоинства грузин или же, во всяком случае, то, что сами грузины считают своими достоинствами, хотя слова «ни своего, ни чужого (добра) не берегущие» или «не копящие сокровищ» представителям какого-либо другого народа, возможно, могут показаться обозначением смертельных грехов.

Отмечает Вахушти и недостатки или отрицательные стороны грузинского характера, что свидетельствует о его объективности. Но для нас в данном случае важнее то, что первый систематизатор нравов и обычаев Грузии в этом и в других параграфах (к примеру, «О нравах») замечает противоречия (как фундаментальные, так и относительно второстепенные) внутри одного национального характера.

Следует отметить, что Вахушти не умалчивает об исторических изменениях перечисленных черт и предлагает нам и здесь довольно четкие контрасты.

Вообще он далек от идеализации нашего национального ха-

 Продолжение. Начало см. в № 7.

рактера — хорошо видит его развитие, эволюционные видоизменения, а также его внутреннее многообразие; как нравственный он прежде всего именно этим и отличается от своих предшественников.

По свидетельству Иванэ Джавахишвили, среди известных грузинских духовных деятелей средних веков одно время «бытовала идеализация грузинского национального характера. В XI веке, если не раньше, она уже определилась: к этому времени сложился определенный взгляд на грузинские национальные черты, который в ту эпоху, как и в последующие времена, разделялся всеми и который содержал в себе по существу своего рода противопоставление характерных черт грузинского народа свойствам других народов. Так, например, по мнению Георгия Хуцес-Моназони, «сородичи наши испокон веков чистосердечны были и правдивы». Георгий Мтацминдели также в беседе или в спорах с представителями других народов всегда подчеркивал, что «племена грузинские искренни и правдивы», что эта черта характера объясняется не безрассудностью или невежеством и легкомыслием, а нравственной чистотой, прямотушием и честностью.. По словам католикоса Николоза, грузины «по природе своей трудолюбивы, просты и искренни, простодушно принимают правду жизни и ярмо ее и веруют только в бога да в силу свою».

Разумеется, концепция национального характера грузин, принадлежащая Вахушти Багратиони, богаче всех этих самих по себе небезынтересных взглядов. Мы еще вернемся к его наблюдениям, а сейчас мне хочется остановить внимание читателя на другом.

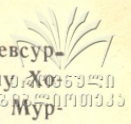
ВСТАВКА I

МИНДИА И МУРМАН

Грузинскому характеру присущи отклонения и крайности — в разные времена это проявлялось и в жизни — что зафиксировано и в истории, и в художественном творчестве (в литературе и фольклоре).

Примечательно, что самые крайние, самые полярные проявления черт национального характера встречаем мы в народном творчестве. Два полюса нашего национального духа — Миндиа и Мурман — два крайних отклонения (от принятой нормы) во взаимно противоположном направлении.

Не исключено, что эти два образа имеют общее начало.



Интересна в этом смысле литературная модификация хевсурского сказа в известном рассказе К. Гамсахурдия, по которому Хотаис Миндиа продает свою душу Очопинтэ (так же, как Мурман — дьяволу). После этого он исцеляется (а Мурман исцеляет Этери).

Таким образом, в осмыслении двух этих образов есть фаустовский мотив (своеобразно трансформированный)¹. Что это должно означать с точки зрения народного миропонимания? Видимо, то, что оба они перешагнули грань человеческих возможностей и человеческого бытия и ступили на новую, «сверхчеловеческую» ступень.

Так или иначе, оба они нарушили норму обычности (заурядности). В этом смысле (преодоления границы) они находятся рядом. Но именно здесь, за этой гранью, и расходятся их пути.

В грузинском фольклоре Миндиа и Мурман не объединены одним сюжетным контекстом, однако от этого ничего не меняется. В контексте народного миропонимания и этических убеждений они противопоставлены друг другу.

Характерно, что грузинский поэтический гений разделил историю Фауста и дал нам две диаметрально противоположные линии.

Миндиа и Мурман — достойные антиподы.

Сознание и действия первого, говоря проще, отмечены печатью альтруизма, второго — несут на себе клеймо себялюбия, эгоцентризма (в этом смысле именно Миндиа — мировоззренческая антитеза Мурмана, а не Абесалом, который, так же как Мурман, видит цель жизни в личном счастье и отличается от своего соперника лишь «средствами», которые применяет для достижения этой цели).

Водораздел между Мурманом и Миндиа проходит именно там, где мурманово и миндиево понятия счастья противопоставляются друг другу.

Справедливости ради следует заметить, что вначале, на первой стадии, счастье им представляется в одинаковом облике — как сокрытое от других знание, мудрость. Новая жизнь Миндиа начинается с познания таинственного языка природы, а Мурма-

¹ В народной версии гамсахурдиевский мотив сделки Миндиа с Очопинтэ отсутствует. Но это уже деталь. Существенно то обстоятельство, что «новая сила» народного Миндиа (как и Мурмана) начинается со связи с чертовщиной (лешими, каджами), что несомненно приближает его историю к истории Фауста.

на — после того, как он узнает тайну неизвестного другим карства.

И все же оба эти образа в корне отличаются друг от друга тем, что каждый из них понимает под счастьем, и тем, какой цели служит у каждого обретенное им знание.

Миндиа — крик раненой грузинской души — олицетворение ее открытости, доброты, универсальной нравственности.

Нравственный максимализм Миндиа находит удовлетворение лишь в абсолютных этических ценностях: абсолютной доброте, абсолютной справедливости, абсолютной чуткости. «Восприимчивость» («ვერცხვანობა» — «способность понимать другого») — один из главнейших атрибутов грузинской идеальной морали — переходит в образе Миндиа все более или менее ограниченные социальные нормы, вообще все человеческие пределы и, в сущности, распространяется на космические пространства (если Миндиа понимает тайну всего сущего на земле, небесные тела, со своей стороны, не менее чутки к нему).

Знание и счастье, которые обретает Миндиа, заставляют его отказаться от всех привычных человеческих связей и, таким образом, достаются ему ценой отказа от собственного благоденствия.

Результат этого — кризис психики, что в конце концов приводит его к трагической пассивности, отрицанию каких бы то ни было утилитарных, практически (в нормальном человеческом понимании) полезных действий.

Зато состояние это — соответствующее высшему, «великому духом» созданию, истинному Человеку (поскольку он — владыка и венец природы).

Миндиа (как и Сигурд, персонаж скандинавской саги) пробует мясо (кровь) змеи (дракона) и после этого начинает понимать язык природы. Так зачинается его мудрость. Как известно, змея по библии — символ мудрости. Однако в грузинской версии этого мотива более интересен следующий момент.

На мой взгляд, не случайно у К. Гамсахурдиа Хогаис Миндиа вступает в соглашение с Очопинтэ и с его помощью становится ясновидящим (именно Очопинтэ варит для него «белых змей») — избранным среди детей природы.

Очопинтэ в грузинском пантеоне — божество зверей. Внешностью он походит на Фавна или Сатира, у него туры (козьи) копыта и рога.

Даже в том случае, если весь этот мотив — литературная выдумка, в народном и гамсахурдиевском осмыслении этого образа много общего. Главное в том, что Миндиа заключает союз.

с природой, для достижения высшей мудрости обращается к первоначальному «животному» началу.

Таким образом, можно сказать, что он превращается в существо как бы дионисическое, но в отличие от ницшеанского понимания Диониса видит в природе не только разгул темных сил (жестокости, несправедливости, мук и отчаяния) и, соответственно, оказывается не «по ту сторону добра и зла», но, в первую очередь, преисполняется верой в гармонию природы (жаждой доброты, любви, великодушия, взаимного доверия, взаимной терпимости) и свое главное человеческое призвание видит в проповеди этой гармонии.

Цель его — всеобщее счастье — счастье в универсальном масштабе, такое счастье, при осуществлении которого не будет страдать ни одно существо (даже самая малая пичужка), никто и ничто не останется без внимания, без ласки.

Разумеется, это — недосягаемое счастье, всего лишь мечта, продиктованная душе человека чрезмерно развитым «величием желаний» (Руставели).

Зато это логически (силой «высшей» логики) конструированный идеал счастья.

Примечательно и то, что Миндиа не простое (плоское) олицетворение, душа его состоит из множества взаимопересекающихся и, главное, взаимоисключающих пластов; этими «несовместимостями» объясняется его внутренняя мятежность, вечная тревога, болезненная двойственность.

Миндиа — «Человек духа».

Существует мнение, что народ осмыслил его как «интеллигента» в широком, сверхсоциальном, сверхисторическом значении, как личность, которая почувствовала сострадание, прониклась болью других (в том числе и не людей), которая в повседневном существовании своем, в своих поступках и действиях руководствуется велениями духа и разума, а не диктатом практической нужды. Вследствие этого он в представлении народа обречен на пассивность или более того, попросту на небытие. Мудрость Миндиа практически бесполезна и потому бессмысленна и бесплодна.

Такое соображение, безусловно, достойно внимания. Но тут примечателен один момент, лежащий в основе противоречивого характера Миндиа. Этот «Человек духа» ищет опору своих чаяний не в глубине собственного существа, а во внешнем, объективном, материальном мире.

Миндиа — не равнодушный созерцатель этого мира, он не только хранитель тайн природы (вообще бытия — универсума), но и ее клич, вестник ее сокровенных истин, самоотверженный

опекун и врачеватель ее ран, одинаково милосердный и состра-
дательный ко всем и всему.

Мурман не менее интересный персонаж грузинского фольклора. Он тоже является не простым олицетворением какой-либо нравственной идеи. Об этом свидетельствует, в частности, трагическое осмысление народом этого образа; закономерен этот мотив у Палиашвили (в опере «Абесалом и Этери»), а еще более в поэме Важа Пшавела «Этери», в которой душевная драма героя, его страшный конец вызывают в читателе глубокое человеческое сострадание. Мурман (в отличие от Миндиа) — эгоцентрик. «Счастье» видится им в единственном аспекте — личном и может реализоваться лишь в обладании Этери (то есть в удовлетворении сексуального чувства). Другого источника для утоления его душевной жажды вообще нет в природе.

Он ничего не жалеет во имя такого счастья, даже своей души, поэтому ради земного блаженства соглашается на вечные муки.

Суть мурмановой модели счастья — полнейшая индифферентность по отношению к правде и справедливости, примат импульса обладания, самоудовлетворения перед всеми прочими человеческими импульсами, а отсюда и предельная активность (на фоне предельной беспомощности Абесалома).

Музыкальное творчество Палиашвили (в первую очередь «Абесалом и Этери») сыграло такую же роль в формировании грузинской культуры новейшего времени, как творчество Вагнера в Германии. Я имею в виду не их концептуальные особенности (в этом смысле между ними большое различие), но глубину воздействия на культурное окружение, общественный резонанс и, что еще более значительно, особый интерес этих двух мастеров к первоисточникам национального миропонимания.

В этом смысле несомненно примечательно, что именно Захарий Палиашвили оживил в наше время этот уникальный образ народного эпоса.

Образ Мурмана, так же как образ Миндиа, переносит нас в сферу фундаментальных представлений западной культуры.

Мурман тот же «Злой дух», вернее элемент «Злого духа», то есть то главное, что вселилось в его существо и определило его характер и поступки.

Здесь, вероятно, не стоит делать обзор литературного генезиса этого образа (по библии — изгнанного из рая ангела) от Мильтона до Достоевского, или от байроновского Люцифера до лермонтовского Демона. Особенно примечательным для нашего времени представляется нам его осмысление Анатолем Франсом,

как закономерный итог эволюции этого образа от библии до XIX века.

«Злой дух» Анатоля Франса — активное (по-своему героическое) начало в истории человечества. Если дьявол Достоевского разменивается на мелочи, копается в темных закоулках души, а нередко довольствуется и непристойным балагурством (в беседе с Иваном Карамазовым), сатана Анатоля Франса — гордое и самолюбивое существо; и не надо удивляться: именно он — истинный творец истории человечества, вдохновитель и вождь всех открытий, всех революций, прогресса всех времен, всякого вообще движения вперед. Отождествление зла и деяния и, таким образом, очередная «реабилитация» (после Байрона) «Злого духа» как силы, восставшей против навязанного человечеству универсального порядка, сами по себе весьма примечательный мотив франсовского скептицизма¹.

На грузинской почве мотиву этому не суждено было расцвести и не только потому, что в нашей литературе не нашло должного развития его общественно-культурное содержание (в прошлом столетии мотив этот прослеживается лишь в творчестве юного Бараташвили). Не будь даже этого пробела, развитие его, как видно, шло бы в ином направлении, поскольку в художественном творчестве грузинского народа роль Созидателя (строителя, творца) традиционно исполняет Добро, а не Зло.

История Мурмана (несмотря на четко акцентированную действительность его характера) в действительности также символизирует собой неистинное, неполноценное и потому нежизнеспособное, бесперспективное действие.

Энергия Мурмана в представлении народа — злая энергия. В силу этого она не может ничего произвести. Его «хрустальный замок» лишь эфемерная избушка, ибо нет у нее ни опорного столба, ни настоящих стен и хозяин ее в конце концов (по Важа Пшавела) «голодным зверем будет выть по ущельям, горам и оврагам».

К стремлениям Мурмана примешано зерно зависти и злобы. Потому-то его чрезмерная активность находит выход только в разрушении и видится нам не источником истинного действия (со-

¹ Томас Манн «В докторе Фаустусе» переносит этот образ уже в другую, более новую и более сложную культурно-философскую плоскость. Но в данном случае для нас примечательнее франсовское «скептическое» осмысление как логическое завершение определенной традиции.

зидания), но оцепеняющей, парализующей силой — источником смерти, небытия.



Удивительно: Важа Пшавела в финале поэмы припишет своему Мурману (Шере) трагический замысел Эдипа:

Затем, что безумной рукой
Сегодня он выколет очи,
Затем, что смертельный покой
Он видит в безмолвии ночи.

Ибо неустанному искателю земного блаженства, отдавшему все силы на приобретение этого эфемерного, «бездушного» счастья, губящего других и влекущего в ад собственную душу, «невтерпеж на наше смотреть мирозданье».

Мурман в поэме Важа приходит в отчаяние не только и не столько от своего поражения, сколько от содеянного.

Перед сердцем своим он, разумеется, прав, но, как выяснилось, это была псевдоправда, слепая «истина» замутненного страстью сознания.

Приобретенные знания (силу, определившую его действия и временные успехи) ему с самого же начала суждено было использовать корысти ради, потому и смешалось у него все: «любовь» оборотилась «враждой», желание «созидать» — «разрушением».

Осмысление разума и знания как антидобра, антиверы и антидействия связано в грузинской поэзии с именем Николоза Бараташвили. Но концепция его «Злого духа», которая в дальнейшем должна была получить свое оригинальное разрешение в «Мерани», явно опирается на общеевропейскую (романтическую) традицию.

С народной точки зрения для понимания роли «знания» в данном случае более примечательна мысль Важа Пшавела.

В «Змееде» подчеркивается, что Миндиа снял с мудрости, полученной им от колдунов, оболочку дьявольского зла, освободил ее от враждебных человеку элементов и превратил в благое, творящее добро знание¹.

¹ Связь знаний и ума с добром характерна и для древнегрузинской литературы. Летописец пишет: «Беззлобный и добрый ум был у него». А в «Житии Григола Хандзтели» читаем: «Сердобольный умом» (см. в книге И. Джавахишвили «Вопросы грузинского языка и литературы». Тб., 1956, с. 145).

Лес, небо, что ни попади,
Теперь с ним в беседе совместной,
И в миндиевой груди
Лишь зло не нашло себе места.



Правда, для большинства людей такого рода знание, как выяснилось, оказалось непонятным и неприемлемым, но по большому счету это было именно человеческое (гуманное) знание — единственное основание для подлинного созидания.

ВСТАВКА II

ЦОТНЭ И ЗУРАБ

Примечательно, что мифологические образы находят свою аналогию в реальной истории.

Так же четко, как Миндиа и Мурман, противопоставлены друг другу в истории Грузии, в частности, два «предельных» характера: Цотнэ Дадиани и Зураб Эристави.

Характер первого — это исключительное проявление верности, второго — дошедших до крайности предательства, измены.

Представьте себе, что и эта пара антиподов имеет под собой общую почву.

Во-первых, оба — сыновья кровавой, мутной и жестокой эпохи. Во-вторых, и тот, и другой окружены ореолом геройства, самоотверженности перед внешним врагом, имеют большие заслуги перед своим народом.

В остальном — они находятся на противоположных полюсах.

Образ Цотнэ обессмертила литература, образ Зураба сохранило народное творчество. Так обосновались они в представлении грузинского народа, но не обрели отпечатка однозначных символов. Характеры их в глубине своей обладают более масштабными измерениями, чем простое олицетворение тех или иных нравственных понятий.

Цотнэ Дадиани самый нормальный на фоне других «крайностей» и «отклонений», по-своему типичный образ с точки зрения рыцарской морали. Он — гармоническая личность, гармония для него превыше всего, потому он и не может пойти на компромиссное соглашение с собственной совестью.

Чрезмерна лишь его верность сподвижникам. Правда, у Цотнэ нет другого пути — никакими средствами не может он

спасти своих друзей, но у него достаточно оправданий для того, чтоб не жертвовать собой, поскольку жертва эта (с точки зрения здравого рассудка) бессмысленна.

Мудрость Цотнэ — это мудрость сердца сострадающего, проникнутого болью сочувствия. Верность его приобретает абсолютную форму, превращается в самоцель. ЭТО ВЕРНОСТЬ РАДИ ВЕРНОСТИ!

Удивительно, как просто и спокойно ведет рассказ об этом летописец..

В книге «От Машрика до Магриба»¹ Тамаз Натрошвили подчеркивает неоднозначность отношения народа к Зурабу Эристави. Народ, по его мнению, не может примириться со смертью Зураба, того Зураба, которого он сам назвал кровавым и проклял («Пусть лихо тебя одолеет, Зураб, пить тебе воду кровавую!»).

Какая этому может быть причина?

Несомненны и героические заслуги Зураба перед Грузией. Но тут проявляется один подсознательный момент, обосновать который трудно, но почувствовать, постичь сердцем все же возможно.

В основе народной печали по поводу гибели Зураба лежит болезненное сознание того, что потенция личности, рожденной быть героем, не осуществилась в Добре.

Столь же удивительно характерно в этом смысле отношение Теймураза I (не исторического правителя, а литературного героя) к смерти Зураба. В поэме Арчила «Беседа Теймураза и Руставели» кровный враг Зураба, не раз преданный им тесть, Теймураз I, оправдываясь в убийстве изменника, говорит, что ему до самой смерти будет сниться раненый Зураб.

Смерть Зураба — заслуженна, но суть здесь в другом. «В Сапурцле позвали в гости, и на пиру убили Зураба Эристави», — пишет Парсадан Горгиджанидзе. Убийство предателя при помощи хитрости и коварства не приносит облегчения ни народному сказителю, ни поэту.

«Предательство ты любишь, Зураб, вот и я предательством тебе отвечу», — так, судя по народным стихам, Теймураз грозит своему зятю.

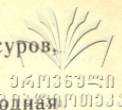
Послушаем Т. Натрошвили:

«Предательство и коварство сопровождали Зураба всю жизнь, и умер он, предательски убитый».

Но разве не заслужил такую смерть человек, который не раз совершал набеги на Пшав-Хевсуретию, человек, который выколол

¹ Машрик и Магриб (Магреб) — названия восточной и западной оконечностей исламско-арабского мира..

глаза родному брату и безжалостно лишил жизни сорок хевсуров, созвав их на пир...



Вот как рисует нам портрет жестокого феодала народная поэзия:

Зураб залил кровью страну,
заставил рыдать тысячи матерей,
обесчестил множество женщин,
жестоко надругался над ними.

Человек, на совести которого такие грехи, достоин смерти, пусть даже, чтобы покарать его, потребуется коварство. Но если так, то почему сокрушается стихотворец: «Вряд ли родится воин, подобный Зурабу»? Выходит, что ненависть бессильна преодолеть любовь к герою марткопской и марабдинской битв. Память народа хранит эту любовь.

Ответ, несомненно, убедительный, тем не менее, на мой взгляд, поставить на этом точку пока нельзя.

Знаменательно, что еще при жизни Зураба народ с удивительной грустью повествовал о его страшных делах, словно пытаясь его усознать.

Народный сказитель с нескрываемым восхищением описывает и внешний облик обреченного на смерть Зураба: «В Сапурцле прибыл Зураб, тростник с берега морского...»

Последнее пиршество и кончина его переданы с таким изяществом, что, не зная о злодеяниях Зураба, можно подумать: народ скорбит о гибели своего идеала, о смерти идеального героя.

В действительности в основе фольклорного осмысления этого образа лежит, вероятно, более глубокий нравственно-мировоззренческий мотив.

Народ оплакивает Зураба потому, что в его прекрасном теле не заключен столь же прекрасный дух.

Метафизическая причина этого сожаления — разрушенная гармония, несоответствие формы и содержания, трагический разрыв между ними и как следствие этого — внутреннее крушение личности.

Это давняя печаль грузинской души. Она не мирится с разрушением идеала, даже с его «расчленением». Одного идеального свойства (скажем, самоотверженности, мужества, рыцарской удали) недостаточно для удовлетворения ее запросов. Односторонняя апология личности по существу чужда как грузинской литературе, так и фольклору. Там, где образ персонажа так или

значе обрисован полнокровно, характеристике идеального героя, как правило, сопутствует традиционный рефрен, возвещающий о внутренней полноте: «правдивый и милосердный».

Этическое сознание грузинского народа не признает героя и без такого качества, как сострадание¹, а «величавость» не считает достоинством, если ей не сопутствует «простота». «Снисхождение», по Руставели, необходимый атрибут «высоты».

Двуединство грузинского характера заключает в себе одну опасность для его интерпретатора. Если из этого единства выделить лишь одну сторону и судить только по ней, это может привести или к абсолютной его идеализации, или, наоборот, к полному его осуждению.

С подобным односторонним отношением мы встречались не раз и в наше время. Оно порождает немало недоразумений и, к сожалению, часто вводит в заблуждение наивных слушателей. Одни представляют Грузию эдемом, обиталищем ангельских душ, другим же мерещится в ней что-то дьявольское, безбожное. Одни кричат о нашей неверности или непроницаемом себялюбии, для других же все мы поголовно — прекраснодушные рыцари или чудачки. Лишь немногим дана способность взглянуть на нас другими глазами.

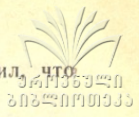
Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай...

История непонимания начинается издалека.

Иоганн Готфрид Гердер в своем капитальном труде «Идеи к философии истории человечества» (1784-91 гг.) посвятил грузинскому характеру всего несколько строк: «Еще более (по сравнению с Арменией — Г. А.) жалка судьба христианской Грузии. Тут есть церкви и монастыри, патриархи, епископы, монахи; женщины-грузинки красивы, грузины — смелы, и все же родители продают тут своих детей, мужи — жен, князя — подданных, верующие — священника. Странное христианство царит в этом бодром духом и неверном в сердце своем воровском народце».

Характеристика настолько тягостна, что я даже колебался — привести ли полностью высказывание Гердера, не пощадить ли

¹ Весьма примечательно в этом смысле наблюдение Иванэ Джавахишвили: «По словам Георгия Хуцэс-Моназони, чувство сострадания было характерной чертой природы человека... «Сострадание изначально свойственно человеку».



нервы своих соотечественников. Но в конечном счете решил, что не следует что-либо утаивать.

Давайте попытаемся спокойно воспринять этот текст. Гердер несомненно перебарщивает. Его главная задача состоит в дискредитации «благотворного воздействия» христианства на Востоке, и, соответственно, он сгущает краски. Не исключено также, что основная информация почерпнута им из антигрузинских источников. И все-таки ведь нечто подобное в самом деле творилось в Грузии XVIII века?! Не говоря ни о чем другом, князья ведь действительно продавали своих крепостных! Неудивительно, что сведения о подобных фактах (даже полученные понаслышке) вызвали соответствующую оценку¹.

Отметим, однако, что эта торговля людьми, связанная с их похищением, была не правилом, не обычаем, а вопиющим нарушением вековых этических норм, преступлением, которое имперетинский царь Соломон I карал жестоко и беспощадно.

Но вот чем особенно любопытна гердеровская характеристика. Несмотря на явную неприязнь автора, мы все-таки находим в его оценке два положительных эпитета, относящихся к грузинскому характеру, — «смелые» и «бодрые духом» (не будем принимать во внимание слова «женщины-грузинки красивы»).

Примечательно, что Гердер дает в общем сходную оценку баскам, о которых в книге его сказано: «мужественный... бойкий и веселый народ».

Чем же вызваны эти явно неуместные (в данном контексте) хвалебные эпитеты в характеристике грузин? Вероятно тем, что Гердер в какой-то степени опирался на традицию.

«Бодрость (или вольность) духа» до него и после него не раз отмечалась на Западе как основная черта грузинского характера. А данный конкретный случай любопытен тем, что пишет это не апологет, а безжалостный критик.

Если бы Гердер нашел возможность окинуть взором нашу историю (в особенности тот же XVIII век и несколько предыдущих столетий), вероятно его поразило бы и то, насколько парадоксально звучали эти два слова («бодрый духом») в сложившихся к тому времени обстоятельствах нашего национального существования, или же какой ценой удалось невзлюбившемуся ему

¹ Как не вспомнить в связи с этим известные, относящиеся уже не к столь давним временам, слова Нико Лорткипанидзе из очерка «Грузия продается»: «Продают все — князь, поп, купец, разбойник, млад и стар, умный и сумасшедший...»

«народцу» прослыть обладателем именно такого морального качества.

Как же отразилась в самой грузинской литературе эта почти всеми признаваемая особенность?

* * *

У каждого народа в прошлом есть как бы кульминационные моменты, когда максимально проявлялась его духовная потенция.

В истории Франции — это эпоха Рабле («раблезианский дух»), в Англии — век Шекспира, в России — время Толстого и Достоевского.

Именно в творчестве последних во всей полноте воплотился «правдоборческий дух» русского народа (и, следовательно, русской литературы).

Для Грузии — это эпоха Руставели. И «Витязь в барсовой шкуре» — в сущности «Новый завет» грузинского народа.

Пафос правды и справедливости (правоискательства) в этой поэме предельно силен. И все же главное здесь — в другом: не только и не столько в искании «правды», сколько в поисках «света», похищенного адептами тьмы (ведь по сути вся поэма Руставели — описание процесса этого искания).

«Свет» же, по Руставели, по своей сущности не что иное, как счастье, гармония, соединение разлученных — утешение порывов сердца в живом союзе. В учении Псевдо-Дионисия Ареопагита, которому во многом следует автор «Витязя», свет есть бог («Солнечная ночь»), но в художественном контексте поэмы он часто выступает и как земное божество, то есть источник земного счастья.

Грузинский характер, согласно Руставели, это характер, ищущий счастья, — соответственно, разумеется, и правды, и красоты, и добра, но в первую очередь, преимущественно — счастья, которое в его представлении объединяет все эти три начала.

Здесь следует еще раз остановиться, чтоб проверить обоснованность наших суждений. Могут, естественно, спросить: «Какой же народ, или какое живое существо вообще не ищет счастья?».

Ответ на этот вопрос таков: речь здесь идет о доминанте, «главной теме», «главном звуке».

Грузин не может, просто не представляет себе жизни без счастья — то есть вне такого состояния, которое дает простор присущей его душе «бодрости». И потому, когда вокруг нет условий для большого, подлинного счастья, он ищет выхода в мело-

чах или создает прекрасную иллюзию праздника, душевной ноты, радости.

Внешние проявления этого свойства сразу бросаются в глаза негрузину. Н. Тихонов в одном из своих «кахетинских» стихотворений писал:

Мастера людей учили,
Чтоб был весел человек.

Мы относимся к небольшому числу древних народов, которые по сей день сохранили любовь и вкус к жизни. Бытует даже мнение, что этимология грузинского слова «квира» (воскресенье, выходной день) происходит от слова «гаквирвеба» (удивление): человек шесть дней трудится, уставясь в землю, а на седьмой день взглянет на небо и удивится тому, что живет на свете, удивится и возрадуется...

Философию счастья разработали французские просветители. По убеждению Гельвеция, «человек не может не стремиться к счастью... Это самое естественное, самое человеческое свойство его характера». Стремление к счастью (вернее постоянные его поиски, погоня за ним) в прошлом столетии полнее всего воплотилось в творчестве Стендаля.

Это — своеобразный венец умонастроений, восходящих к эпохе гуманизма, поскольку идея счастья — ренессансная идея, вдохновлявшая эпоху, которая на трон высшего существа возвела Человека с его «здешними» интересами и порывами.

Стендаль в своем нравственно-психологическом трактате «О любви» противопоставляет различные национальные варианты понимания счастья и стремления к нему, в особенности французский и итальянский. Во французском варианте главной чертой представляется ему тщеславие, а в итальянском — голая, глубокая чувственность.

Тщеславие проявляется в основном в галантности, а галантность (в сравнении с чувственностью — Г. А.) более грациозна, более отточена, — считает Стендаль, — и потому приносит больше счастья во Франции; счастье же, основанное на страсти (или же итальянский вариант — Г. А.), не может быть предметом тщеславия.

Что можно сказать, с этой точки зрения, о грузинском варианте понимания счастья? Судя по классификации Стендаля, мы должны находиться где-то в середине, ибо не лишены тщеславия и честолюбия (в соответственно «грациозном» их оформлении), но и не обделены подлинными страстями.

Можно сказать (и мы уже отмечали это), что стремление к счастью — врожденное свойство грузинского характера. Но слово «врожденное» в данном случае не точно, мы употребляем его условно, для обозначения чего-то долговечного, переходящего из столетия в столетие.

В самом деле, потребность счастья, вероятно, вырабатывалась в Грузии на протяжении веков, не только в доисторическую пору, но и в известные историкам эпохи.

Случилось так, что счастье для грузин всегда было предметом поисков. А поиски эти, как правило, были связаны с преодолением препятствий, с борьбой, и в результате такая потребность формировалась как активное качество.

Следует отметить, что свойство это остается активным (хотя бы частично) и тогда, когда грузин создает иллюзию несуществующего счастья, поскольку и здесь мы имеем дело с своеобразным творческим актом.

Такова, в частности, основная цель и грузинского застолья: человек ставит спектакль счастья.

Но какова структура этого «поставленного» («разыгранного») счастья?

Это — попытка соединения желаемого и реального, иными словами, восстановления идеальной гармонии. И грузинский тост (столь часто пародируемый и опошляемый нами), по сути своей, по своему первоначальному замыслу — тоже часть этой попытки.

Личности (объекту тоста) приписывают те черты, которые могли бы быть присущи ей, если бы ее положительные свойства реализовались во всей полноте.

Восстановление гармонии между желаемым (идеальным) и существующим (реальным) — такова главная тенденция грузинской модели счастья.

И вот мы вернулись к тому, с чего начали, ибо «идеальное», с определенной точки зрения, то же самое, что «возвышенное», «духовное», а «реальное» — то же, что «вещественное», «телесное».

Грузинский характер самозабвенно стремится к духовному («цвету небесному», «вечному краю»). Но следует признаться в грехе (если это грех): достигнув этих высоких сфер, он недолго задерживается во владениях чисто духовного, ибо здесь его вскоре охватывает тоска, кровь стынет, одолеваемая печалью по земному («в вечном краю лишь печаль одна» — Галактион Табидзе). Столь же остра и сильна его любовь ко всему «здешнему», к «прелестям и уладам этой жизни», к живой материи — и, однако, приобщившись к материальному довольству (в широком по-



нимании), он столь же скоро проникается душевным **беспокойством**, мечтой о возвышенном, жадой идеала.

Так создаются «Песни сожаления» наименее счастливого царя Грузии — Давида Строителя.

Но, что столь же примечательно, классический строй грузинского характера не мирится с неудовлетворенностью, вызванной недостатком одного или другого (духовного или материального), не терпит дисгармонии, не в силах в самом мучении (в печали, вызванной чувством неудовлетворенности) найти облегчение, отдать себя во власть терпеливого страдания. Он не может выждать счастья, откладывать его на далекое будущее¹.

Счастье нужно ему «здесь», «сейчас». В силу этого слова «невозможно», «недозволено» — для грузина самые ненавистные слова, а самоограничение — самое чуждое ему, неприемлемое состояние души.

В глубине сердца он верит, что желание, страсть, импульс, возникшие в его существе, сами по себе закономерны, естественны, благостны и по этой же логике непременно должны осуществиться, исполниться, быть удовлетворенными.

Такова его инстинктивная вера, поскольку он преимущественно «человеческий человек».

Свойство это можно считать признаком поверхностной природы (нередко так его и понимают). Довольство малым или кажущимся, стремление к неотложному самоутолению в самом деле нередко принижало, духовно обедняло нас. «Есть ли еще народ счастливее грузин?!» — эти иронические слова Ильи Чавчавадзе указывают именно на такой недостаток. Но и недостатки ведь относятся к свойствам характера, и, не учтя их, понять полностью этот характер практически невозможно.

И все-таки правды ради следует сказать, что неуемная жажда счастья, всегдашняя готовность обнаруживать его всюду, где хоть мало-мальски это возможно — в мельчайших, невидимых для чужого глаза крупинках, способность верить в его существование, доступность, неистребимость, манящую близость — проявили себя не только в виде малодушия или иных слабостей. Такой душевный настрой служил и своеобразной броней, способствуя сохранению той самой «бодрости» (или «вольности») духа, которая в силу известных обстоятельств очень часто находилась у нас на грани полного, бесследного исчезновения.

Читатель, видимо, уже ощутил здесь (если не раньше) одно

¹ Галактион Табидзе называет это «потокотом неудовлетворенности».

несоответствие, которого до определенного момента я не замечал, поскольку до сих пор заботился не столько о логической строгости, сколько о точном, по возможности нюансированном описании предмета. Это желание и привело меня к такому именно (алогичному) следствию: «Поток неудовлетворенности» как-то само собою, произвольно перерос в «довольство малым»¹.

Смею заверить, что причиной этого явились не внутренние помехи в механизме моих рассуждений. Такое противоречие пристекает из самой сути «предмета», и это, казалось бы, вопиющее отклонение характерно само по себе.

Прослеженные выше «несовместимые» свойства еще раз наглядно выявляют двуединство исследуемого нами характера.

Второе — «довольство малым» или вовсе несуществующим (придуманным, кажущимся) — основной признак внешней стороны, или, прибегая (вновь) к более меткой терминологии Пастернака, «ПОВЕРХНОСТНОСТИ» этого характера, а первое («поток») — проявление его внутренней глубины, необозримости, «БЕЗДОННОСТИ».

Эти свойства, казалось бы, издавна противоборствуют внутри одного сознания, и эта вечная борьба характерна для психического строя не только отдельных (многих, или даже большинства) представителей нации, но, в определенном смысле, и для всего народа.

Так как же совмещаются они в одном теле, в рамках единого целого?

Труднее всего ответить именно на такой вопрос. Объяснение мое не претендует на исчерпывающую полноту, но думаю, и здесь, в первую очередь, надо помнить, что мы имеем дело не с обычным, а с драматичным, несколько «парадоксальным» единством. И все-таки — спросят — при каких обстоятельствах возможно допустить, чтобы непримиримые противоположности могли не только сожительствовать, но и создавать нечто цельное, неразсторжимое?

Чтоб разобраться в этом, необходимо принять во внимание некоторые специфические, характерно-грузинские особенности каждой из них.

Неудовлетворенность в данном случае специфична в том смысле, что она в действительности никогда не теряет надежды на самореализацию, никогда не доходит до полного отчаяния и

¹ Слова «И малым счастьем я доволен» тоже принадлежат Г. Табидзе.

следовательно никогда, в АБСОЛЮТНОМ смысле, не отказывается от реальной (земной, сиюминутной, допустимой в данных условиях) перспективы. У нее всегда остается надежда на чудо (невозможное) не потому, что она закрывает глаза на реальное положение вещей, но вследствие того, что неудовлетворенности такого рода в самой этой реальности видятся потенциальные чудодейственные возможности (об этом подробнее — ниже) и, вдохновленная этой убежденностью, она не мирится со своим реальным (безысходным) положением.

Потому-то такая неудовлетворенность, даже в своем предельном состоянии, не перерастает в полное отрешение от возможного (реального), то есть никогда не достигает той конечной точки романтического мироотношения, которая ПРАКТИЧЕСКИ означает примирение с существующим, ибо отрицание возможности восторжествовать над миром приводит к отрицанию и смысла борьбы, то есть фактически к примирению, капитуляции. (Наглядный пример тому творчество Николоза Бараташвили — наиболее характерного левого представителя грузинского романтизма).

Грузинскому варианту неудовлетворенности чуждо смирение как результат такого понимания мира (смирение как обратная сторона или конечный исход романтической мятежности). В этом смысле он всегда содержит в себе психологическую установку на непримиримость с действительностью, понимаемой как незабываемый застывший миропорядок. Отсюда жгучее желание рискнуть, испытать судьбу («попытка не пытка!»), прокрасться к сокрытому... И вот в силу своей специфической природы она, эта неудовлетворенность, порой не дожидаясь главного, абсолютного, ищет временный источник для самоутоления в «малом» или в кажущемся. Одним словом, это такая неудовлетворенность, которая, именно в силу своей предельной остроты, постоянно требует хотя бы частичного или иллюзорного удовлетворения.

В свою очередь, и грузинский вариант «довольства малым» имеет свои специфические особенности. Главная особенность состоит в том, что довольство здесь вовсе не означает спокойствия, умиротворения или капитуляции перед судьбой, наоборот, как правило, оно проявляется в иллюзии борьбы, схватки, мятежа. Отсюда берет начало и присущая грузинскому характеру жажда удачи, ПОБЕДЫ, что нередко проявляется в чрезмерном восторге перед небольшими, несущественными успехами или же в псевдодобедоносной позе.

Это последнее стремление, которое Пастернак считает главной чертой «поверхности» нашего характера («празднично-победо-

носные») — только одно, частное проявление более сильного и глубокого стремления, несомненно выработанного под влиянием особых обстоятельств нашей истории.

Не следует удивляться тому, что грузин столь сильно жаждет победы! Столько войн проиграно им, столько раз сердце его больно сжималось от равнодушия или несправедливости фортуны — разве удивительно, что он самозабвенно радуется любому везению, любому «выигрышу».

Такие наши черты, как «неудовлетворенность» и «довольство малым», были на руку многим.

Благодаря первой черте характера в разные времена нам пришлось пережить целую серию донкихотских злоключений — многие Дульцинеи жестоко изменили нам, слишком много энергии потрачено в сражениях с ветряными мельницами, и пока мы жадно всматривались в далекую даль, многое безболезненно уплывало у нас из-под носа.

Отделаться от такого нрава в принципе возможно и даже полезно. После этого он (грузинский характер) стал бы «лучше», ближе продвинулся бы к «должному» — но слишком дорогой для себя ценой! — за счет самоотчуждения, утери собственной натуры.

Без донкихотского элемента этот склад, эта самобытная духовная конституция просто немыслима.

Не случайно Важа Пшавела, один из самых глубоких знатоков тайн грузинской души, именно Дон Кихота назвал идеалом естественного («природного», а не восставшего против природы) человека.

«Приглядитесь как следует к Дон Кихоту Ламанчскому, сравните его с самой природой, сколько вы увидите схожего в них! Что такое сама природа, если не тот же Дон Кихот, который неустанно волнуется, борется, стремится самозабвенно по одной и той же, избранной им однажды дороге? Мысль у него высокая, думы добрые, но и ошибается он неоднократно, и он не без изъяна».

С другой стороны, когда грузин порицают за довольство искусственными заменителями счастья, то здесь необходимо знать меру. Правда, суррогаты эти порой отравляют его организм, но полное их отсутствие просто-напросто убило бы его как грузина. Дело в том, что «врожденная» черта нашего характера — «бодрость духа» — одна из тех черт, которые постоянно требуют внешней пищи, и если вокруг нет ее подлинных источников, она вынуждена питаться хотя бы временными заменителями. Грузин, не обладающий бодрой (вольной) натурой (или хотя бы не соз-

дающий иллюзорную обстановку этого), — собственно говоря, уже не грузин.

Хорошо это или плохо? Бог знает! Важно, что это так

* * *

Чтоб подчеркнуть, насколько своеобразен в этом отношении грузинский характер, нелишне привести здесь кое-какие высказывания о других национальных характерах.

Вячеслав Иванов писал о Льве Толстом, что среди русских писателей он первым создал национальную концепцию правды, такой правды, которая по сути своей враждебна не только «возвышающему нас обману», но и вообще всему, что проистекает из внешне прекрасного и возвышенного и отмечено их прельстительным влиянием.

Обратимся лучше к первоисточнику:

«Лев Толстой, — пишет В. Иванов, — ответил стихийно-национальному тяготению нашему к обличению всего условного, к вовлечению всех убранств и личин, к бегству от всякой прелести очей и ума, к нисхождению от всех высот житейской гордости, к обнажению правды сущей в ее последней, суровой и нищей простоте. Эта проповедь была сократической универсальной проверкой... всех утешений и самоубаюкиваний дешево и лицемерно успокоившегося духа, всех «возвышающих нас обманов», присутствии которых русский характер склонен упрямо подозревать в прельщениях прекрасного и возвышенного и ради которых не жертвует он и последнею из низких истин».

Эта весьма примечательная экспликация толстовского понимания истины (вернее было бы сказать, смысла жизни) — прекрасный пример того, какое значение имеет выбор синонимов при характеристике того или иного феномена.

Судя по эпитетам, выбранным В. Ивановым, «правда сущая» предстает перед нами единственно несомненной, стоящей жизненной ценностью. Она неизмеримо выше как «прекрасного» (то есть эстетической ценности жизни), так и «возвышенного» (или, в данном случае, нравственно поднимающего).

Нетрудно заметить ясно выраженную, довольно сильную тенденцию экспликатора. Даже если не обращаться к другим авторитетам, ведь по классической философии «истина», «красота» и «добро» — три неразделимые части, определяющие духовное совершенство человека.

В обращении к уничижительным синонимам для характеристики влияния двух последних (эстетического и этического) начал явно проявляется авторская тенденция.

Верна ли точка зрения Вячеслава Иванова в целом в понимании «русского характера»? Для исчерпывающего ответа на этот вопрос необходима большая компетенция, чем та, на которую я вправе претендовать, более основательное и твердое знание предмета. И все же я сказал бы, что это — односторонняя характеристика, поскольку, если мы согласимся, что художник такого универсального дара, каким был Пушкин, не менее глубоко выразил характер и дух своего народа, нежели Толстой, то в утверждении В. Иванова многие опорные пункты утратят свою силу.

Несомненно одно: все это утверждение преследует позитивную цель и так же позитивно воспринимается.

Это искренняя апология того национального характера, который, с одной стороны, породил богищущий гений Толстого, а, с другой, — питал и двигал проникающую в глубочайшие бездны человеческого сознания мысль Достоевского.

Но то, что звучит подлинным восхвалением одного народа, совершенно неприемлемо при определении иного национального духовного строя.

Представьте себе наше «стихийно-национальное тяготение» вне этих «прелестей очей и ума», отторженным от «прельщения прекрасного и возвышенного», с презрением шарахающимся от них, без колебания предпочитающим всему этому «последнюю из низких истин»!

У грузинского характера своеобразные взаимоотношения с правдой (истиной), и объясняется это отнюдь не только его слабостями, относительно второстепенными сторонами. Разумеется, не следует быть слепым и к этим слабостям, в особенности когда они в силу тех или иных объективных причин проявляются в гипертрофированном виде и оказывают роковое влияние на всю национальную психику — когда, к примеру, перед грозящей катастрофой национальное самосознание не замечает, насколько опасно для него самоубаюкивание тешащими душу лженадеждами. Именно в такое время появлялись у нас деятели, подобные молодому Илье Чавчавадзе, чтобы с «сократической универсальной пронизательностью» осудить и сбросить с глаз позорную пелену «дешевого и лицемерного духовного успокоения».

Как мы отметили, подобное происходило и происходит всегда в моменты рокового гипертрофирования наших «врожденных» или благоприобретенных слабостей.

Это вторичная сторона вопроса — историческая, временная, более или менее актуальная в разные моменты. Постоянная же,

существенная черта лежит в других пластах нашего характера и определяется другими категориями.

Главный признак отношения грузинского характера к правде составляет классическое его свойство.

В основе этой «стихийно-национальной» точки зрения лежит сознание неразделимости истинного (или содержания бытия), прекрасного (формы того же бытия) и благого (этического его достоинства), основа же — начало, исток — этого классического миропонимания в том, что для грузина правда (или, в данном случае, действительность, жизнь, бытие) сама по себе — есть добро и красота.

Да, в определенные моменты истории грузинский характер требует именно «горькой» правды (пробуждения, резкого, сурового окрика, правдивого зеркала), дабы, когда он находится на краю пропасти, не одолела его дрема и он не преступил опасной черты. Но по большому счету «суровая и нищая» (так же как «низкая») истина для него — неприемлемый вариант основного содержания бытия.

Потому-то человеческую правду («справедливость») он, как правило, связывает с милосердием, а не с суровостью, а основной смысл жизни видится ему не в «нищей простоте», а в неиссякаемом богатстве, «несметности красок» мира.

К этому непосредственно примыкает и настоятельно выдвигается на передний план одно понятие, соответствующее, по-видимому, давней склонности грузинского характера: природный артистизм, стремление ко всему возвышенному, отличному от обыденного, «патетическому» — ко всему, что связано с творчеством, фантазией или «вымыслом».

«Возвышенность» особенно любимое грузинскими поэтами, да и вообще в Грузии слово. Вот уже восьмой век, как «высокий» в нашем этическом словаре является синонимом не только «избранного» и «благородного», но и «мудрого» и «прозорливого».

И когда современный поэт говорит:

Когда так близко Греми,
Хочу я быть высоким, —

слова эти не требуют для нашего читателя расшифровки. Это, если хотите, код нашей национальной поэзии.

И Важа Пшавела обращался к горам: «Люблю вас за то, что вы высоки».

Быть может, благодаря именно этим горам полюбили мы высоту. Но это уже другая тема, которая увела бы нас очень далеко.

Грузинский характер нелегко расстается с «условностями», не уступает без сожаления «убранства» и «личины», не спешит «сорвать» их, чтобы под ними узреть скелет голой действительности. В силу одной важнейшей причины — все это (и «убранство», и «условное», и «личина») предстает перед ним как субстантивное свойство самой жизни.

Для грузина жизнь сама по себе — праздник, торжество, зрелище, многоликость, то, что знаменует собой природную красоту, естественную, вольную фантазию, ободряющую улыбку природы, то, что ясно, как природа, и красочно, как многоцветье нашего неба и земли; или еще больше — то семицветное чудо, которое грузинская поэзия превратила в эмблему нашей национальной самобытности.

Кто скажет, что подобное представление о бытии выработалось у нас благодаря объективным обстоятельствам нашего существования? Что это — наивный предрассудок народа, избалованного историей? Нет! Жизнь денно и ночью твердила нам иное; мудрость, которой она учила нас, выражена в словах, нашептываемых героем Казбеги Хевисбери Гоча своему сыну Онисе: «Помни, человек рождается на свет, чтобы страдать», «человек рожден для страдания», «для мук...»

Казалось бы, именно это — вечные муки, страдания и терпение — и есть удел, для которого явлен на свет грузинский народ. Но следует признать, что он никогда не лелеял свои раны, никогда не считал, что страдание — естественная, терпимая форма существования, и никогда не культивировал религии долго-терпения.

Нередко можно услышать, что «терпеливость» самая характерная черта «истинного грузина».

Это несомненно верно исторически, поскольку мы и в самом деле выстояли перед лицом неисчислимых бед. Но если заглянуть в глубину грузинского характера или сравнить грузинский народ с другими народами, выяснится, что основное свойство нашего характера не дар терпения (в этом мы уступаем многим), а скорее нетерпимость к несчастью, непримиримость, неприспособляемость к нему.

Если уж прямо сказать, нас спасло не терпение, а скорее нетерпеливость — надо только подойти к этому слову с правильной меркой: в широком понимании оно — синоним непокорности, несмирения, неукротимости.

Мировоззренческая основа такого нрава (тоже своеобразной «слабости») заключалась в убеждении, что жизнь сама по себе богата счастьем и вольностью, очень уж верилось в ее потенци-

альную благодать, что не позволяло мириться с рабством и ни-
зостью. Никак не привыкли мы также к постоянной тоске и муче-
тарствам, к мученическому смирению перед произволом вла-
стных, к самоистязанию.

Наша «обетованная земля» была столь прекрасна и притяга-
тельна и с такой силой влекла к себе, счастье, которое на про-
тяжении веков столь упорно скрывалось от грузин, так явствен-
но мерещилось за каждым углом, что никакая сила и никакой
навязанный диктат не могли вынудить у нас согласие на безра-
достную долю, внедрить в наше сознание довольство нищенским
пайком, отпущенным скупой мачехой-судьбой.

Здесь еще раз следует подчеркнуть уже отмеченное нами вы-
ше обстоятельство. Случилось так, что подобный характер ока-
зался сильнее, выносливее и тверже, чем все объективные усло-
вия, которые, по правилам, должны были в корне изменить его.
А поскольку это «случилось», вероятно, так и должно было быть,
так и было написано у нас на роду, такова закономерная судьба
этого характера.

Выше уже говорилось о внутреннем драматизме грузинского
характера. Теперь следует признать, что это было обусловлено и
внешними причинами.

В основе убеждения в непреложности счастья у грузин, как
видно, лежала также вера в «доброту» не только окружающего
мира, но и самой человеческой природы.

И вера эта всегда висела на волоске, ибо постоянная жесто-
кая борьба за самое существование толкала нас на приобретение
тысяч превратных привычек — и то «воровское» и «неверное»
приписали нам не совсем зря. Нашим душегубам, разумеется, бы-
ло бы куда приятнее, если бы мы верноподданно стлались им под
ноги.

Но что мы «воровали»? В первую очередь свое, насильствен-
но присвоенное чужаками!

Кому изменяли? Тем же насильникам!

Коварству мы учились не по собственной воле, другие за-
ботились о нас, заставляя повседневно в нем упражняться¹.

Удивительно не это. Непостижимо, странно другое: как в

¹ «Племена грузинские коварны прежде всего по отношению
к владыкам своим». Это утверждение Вахушти Багратиони, у
которого в тексте есть и конкретный адрес, следует понимать в
широком значении, как неприемлемость всякого насилия, непокор-
ность.

столь тщательно «обученном коварству» народе не иссякала воля к верности и любви.

«Неверные», мы на протяжении веков сохранили непоколебимую веру в уверованное однажды — за что нашим отцам и матерям раскаленным железом жгли глаза и груди. Еще Георгий Мтацминдели отмечал, что с тех пор как мы, грузины, «познали единого бога, нас не смогли принудить отворотиться от него, и не отворотимся». Да разве хватит слов рассказать обо всем...

ВСТАВКА III

УНДИЛАДЗЕ

Остро, необычно вырисовывается на темно-пурпурном фоне позднефеодальной Грузии силуэт «отуреченного» грузина Имам-Кули-хана Ундиладзе.

Его судьба и характер — еще один исключительный случай «отклонения» от привычного русла жизни Грузии. Но и это отклонение по-своему типично: сколько наших соотечественников-«янычаров»¹ возвышалось с головокружительной быстротой и блеском при дворах магометанских правителей, и сколь многие разделили его трагическую судьбу!

Вся жизнь «ширазского хана» — острейшая драма, схожая с кровавыми «хрониками» Шекспира, но разукрашенная на восточный лад.

Для того чтобы объективно оценить его политическую деятельность, достаточно одного обстоятельства: Ундиладзе был правой рукой жесточайшего правителя Ирана шаха Аббаса, того самого шаха Аббаса, которого Теймураз I охарактеризовал словами: «Могущественный и жестокий государь, губитель христиан, проливающий кровь невинных, подобный царю Ироду...»

Случилось так, что именно во дворце Ундиладзе, правителя Шираз, пытали по приказу шаха Аббаса мать царя Теймураза царицу Кетеван.

Но вот что пишет в своей поэме Теймураз I об этом человеке:

Хвалу ширазскому хану не может не воздать мудрец,
Простой, мягкий, сердобольный, — славят его подданные...

Имам-Кули-хан Ундиладзе — типичный образ грузина, вы-

¹ «Янычар» — понятие, введенное в широком смысле Ильей Чавчавадзе, как символ служения чужакам, врагам.

двинувшегося на службе у кровного врага, во вражеском окружении.

Жизнь его до определенного момента была прямой, ровной дорогой, ведущей к возвышению, облик его не отмечен печатью кризиса.

По свидетельству Пьетро делла Валле, в 20-х годах XVII столетия Ундиладзе был самой значительной личностью в Иране после шаха Аббаса. Он почитал христиан и дружил с европейцами. Католические миссионеры особо подчеркивали необычайную щедрость этого человека, его эстетическую развитость («знал толк в красивых вещах») и стремление к меценатству.

Все, казалось, было в порядке до 1624 года, когда судьба поставила его перед огромным нравственным испытанием — своеобразно закономерным.

Именно в этом году получил ширазский хан письмо от шаха Аббаса, в котором говорилось: «Если царица Кетеван не примет ислам, предай ее пыткам, мучительной смерти».

Перед подобным испытанием рано или поздно неизбежно должен был оказаться такой государственный деятель, чтоб хотя бы однажды воочию, во всей полноте предстала перед ним страшная двусмысленность его существования.

Немало усилий приложил Ундиладзе, чтобы изменить решение своего повелителя. Но все было тщетно. Три месяца держал он в тайне полученный приказ (какими же были эти месяцы для него!). Но пришлось наконец обнародовать шахское повеление.

Диалог ширазского хана и царицы Кетеван — блестящий образец словесного поединка, столкновения двух психик.

Внутренний драматизм обострен здесь и тем, что соперники искренне уважают и глубоко сочувствуют друг другу, трудно даже сказать, который из них больше жалеет соперника — Ундиладзе ли обреченную на пытки царицу, или царица Кетеван горящего в адском пламени Ундиладзе.

Принявший магометанство (вернее, рожденный магометанином) Имам-Кули-хан, разумеется, считает, что ничего особенного не произойдет, если царица отречется от христианства, но ему хорошо знакома негибкая природа знатной грузинки того времени, и он пытается найти подход к ее сердцу, отыскать возможную лазейку: то стремится разбудить в ней материнское чувство, подчеркивая, что «судьба Теймураза зависит от ее решения», то играет на ее патриотических чувствах («небольшой уступкой» царица может спасти родную страну), то напоминает ей почтительно о ее царском достоинстве («не обрекай себя на муки, не к лицу тебе это»).

Одним словом, привлечен весь дипломатический опыт талантливого восточного царедворца, но вдохновленному «благими» намерениями сладкоречивому ширазскому хану не дает покоя одна мысль — он хорошо знает, что напрасны все его попытки ухищрения, ибо «не примет она ислама».

Вероятно, именно эту отчаянную беспомощность Ундиладзе чувствует и Кетеван, когда спокойно, даже, казалось бы, ласково отвечает ему: «Благодарю тебя, хвалю за доброту и человеколюбие, за то, что заботишься обо мне, но невозможно мне отступить от Христа, владыки моего».

Так заканчивается напряженный словесный поединок, который без всякой обработки мог бы войти в любую трагедию эпохи Возрождения или в психологическую драму нашего времени.

Для ширазского хана это — первая проигранная битва, он вынужден в конце концов удовольствоваться жестом Пилата...

И пока грузинский народ поклоняется священной тени мученицы Кетеван, никто не смеет с Имам-Кули-хана это страшное пятно.

Не изменяют посмертную участь ширазского владыки и наши старания представить себе, какие жуткие ночи проводил в своих покоях этот отверженный баловень судьбы, когда в одном из залов его дворца пытали царицу, как он метался в постели, кусая губы, до утра, с каким посеревшим лицом вставал на рассвете, чтобы забыться в повседневных государственных делах, не спасает его память и жестокая расправа, ожидавшая впереди его и всю его семью.

Удивительно одно. Одинаково доброжелательно вспоминают Имам-Кули-хана не только пребывающие в Персии итальянские миссионеры, но и его соотечественники, в том числе и сын царицы Кетеван: «Простой, мягкий, добродетельный...»

В свою очередь, эти слова Теймураза I — редкий образец великодушного беспристрастия.

Представим на миг, кто и о ком пишет эти слова!

Как видно, наши предки знали не только настоящую цену добру и злу в их чистом проявлении, но столь же хорошо разбирались в относительности иных нравственных ценностей.

Разумеется, этому научила их жизнь, та жестокая и бесчеловечная действительность, в которой разве что как крупинки золота в песке можно было отыскать зерна подлинной человечности. Но чтобы научиться этому, необходимо было обладать определенными достоинствами и высоким уровнем этического мышления.

После смерти великомученицы Кетеван счастье стало заметно

изменять ширазскому хану. Во всяком случае, в момент конфликта с наследником шаха Аббаса это был уже душевный слом. Ундиладзе был казнен в 1633 году в Казвине по приговору шаха Сефи.

Чем же привлекает внимание образ Ундиладзе? Погрязший в адской жестокости, коварстве, лицемерии, насилии, воспитанный с малых лет в заветах восточной деспотии, активный участник всего этого кровавого представления, избалованный удачей и властью, он все-таки стремится к добру и правде, тянется к свету и гармонии, но не достигает желаемого. Мутное болото засасывает его дух и тело, и ему остается только завершить свое существование красивой фразой.

По свидетельству современников:

«Приговор шаха сообщили Имам-Кули-хану в тот же самый день, отыскав его в гареме. Ундиладзе выслушал его спокойно и мужественно, и лишь сказал палачу: «Что ж, воля шаха. Об одном прошу — не проливайте крови на глазах у несчастных женщин, не пугайте их».

Последнее желание хана было исполнено. Трех его сыновей тоже лишили жизни. Остальным детям выжгли глаза.

Тела казненных трое суток валялись на площади. И трое суток возле них сидела старая мать хана и причитала — наверно, по-грузински — оплакивая своего «обасурманенного» сына и своих внуков...»¹.

¹ См. в книге Т. Натрошвили «От Машрика до Магриба».

Перевод Виктории ЗИНИНОЙ

Окончание следует

ИОСИФ НОНЕШВИЛИ И ЕГО ПОЭЗИЯ

ОБЫЧНО к красоте не советуют приближаться вплотную: она, мол, меркнет. К Кахетии это не относится. Чем ближе к земле кахетинской, тем ярче не призрачное видение красот, а самая красота. Зелень по мере приближения к ней становится интенсивней и вместе с тем мягче, виноградники — курчавей, плоды — весомей и желанней, люди — дружелюбней и гостеприимней, лоза и ее хитросплетенья проступают в причудливой вязи, как древние письмена.

Напоминание о красоте Кахетии имеет к предмету нашего разговора самое прямое отношение. Иосиф Нонешвили и его поэзия — плоть от плоти и кровь от крови кахетинской земли, юго-востока Грузии.

Кахетия, ее земля и люди, ее песни вошли рефреном в поэзию Иосифа Нонешвили, обращается ли он к своей теме «в лоб» или касается ее косвенно.

Словно живые созвучья,	Там под миндальными купами
Смотрят Гомбори в столетия:	Маленький дедовский дом.
Там, за фиалковой тучей,	
Милая сердцу Кахетия.	Плещет волна алазанская,
	Ветер беседует с мильми,
Там мое детство далекое,	Там виноградник оградю
Там колыбель под стропилами,	Весь огорожен кругом.

Иосиф Нонешвили — частица Кахетии, ее сын и летописец, ее певец. Он весь в отсветах этого озаренного неба, в тени этих виноградников, в брызгах алазанских вод.

Вскормленный несравненным Карданахи, согретый алазанской долиной, напоенный ее соками, Иосиф Нонешвили из глу-

бины души исторг строки любви и признательности
краю:

Родной моей Кахетии есть ли что чудесней?
Есть ли что дороже, чем милая семья?
Так пускай же сердце вместе с этой песней
вырвется наружу, родина моя!
Чтобы, как чинара родного перевала,
шелестел я в мире много-много лет
и чтоб до самой смерти предо мной сияла
эта красота, которой краше нет!

Слово «Кахетия» Иосиф Нонешвили не произносил, а выдыхал из себя. Из легких, из всего существа. Оно звучало шепотно и громово, ласково и гулко. Оно было дыханием поэта.

Кахетия! Это место рождения, колыбель, гнездо, взрастившее поэта, песни гор, эпос, первое и последнее слово — как «мать». Кахетии посвятил поэт много заревых строк и всегда считал себя в долгу перед нею.

Вот она, Кахетия... Почти до самой тучи
поднимает плечи Гомборский перевал,
над берегами Иори — осины, камни, кручи,
вверху седые гривы невозмутимых скал;
гроздь винограда обрызганы росой,
небо, как корзина невиданных цветов
в позолоте нивы, и прямо под ногою —
древние следы, следы моих отцов...

Память поэта хранила исторические сказания и народные легенды. Он умел их слушать и воспроизводить. К известным фактам добавлял новые, недавно найденные.

— Сколько еще прошедших через всю мою жизнь легенд и преданий я должен воплотить! — озабоченно говорил Иосиф Нонешвили.

— Возьмите на заметку, хотя бы прозой... В записную книжку...

— Нет, от такого записывания остается голая схема, костяк, слова остынут, а самый дух, поэзия улетучится. Нет смысла... А главное, то, что всего больше увлекает, никогда не забудешь...

Устные рассказы увлекали поэта, и он был расточителен — рассказывал людям, как шаири, как рапсод. Иногда казалось, что в устном рассказе он дает как бы черновик готовящегося произ-

ведения. Устно он раскатывал, пробовал, репетировал то, что потом станет печатной страницей. У Иосифа Нонешвили был несомненный импровизационный дар, роднивший его с творцами народной поэзии.

Первое слово его — всегда о Кахетии. Он радовался, если слышал похвалу родному краю со стороны, из чужих уст. Такой человек с ходу становился его поборником.

Кахетия всегда была любовью поэтов и музыкантов, их гордостью и прибежищем.

Вдохновленный Кахетией Николай Тихонов, увидев ее с Гомборского перевала, написал свои знаменитые строки:

Я прошел над Алазанью,
Над причудливой водой,
Над седою, как сказанье,
И, как песня, молодой.

Это сочетание древности и молодости, древних башен Сигнахи и заводских корпусов Большого и Малого Лило, старинного кахетинского селения Сагареджо и новостроек Телави было мило сердцу поэта, и он запечатлел его в своей поэзии. Такова его особенность, его родовая примета. Ненавязчивая черта его сочинений во всем их объеме.

— Я хочу все три времени — прошлое, настоящее и будущее — соединить в своей поэзии и выразить каким-то новым триединым образом, — сказал как-то поэт в моем присутствии, обращаясь к школьникам.

— Как бы, Иосиф, они не запутались в грамматике! — заметил я.

— Нет, они будут грамотными. Но я хочу, чтобы каждый из них поэтически мыслил... Если бы еще удалось это сделать! Поэтическая грамота. Ее постигают сердцем...

Человек эмоциональный, поэт был готов проверять свои порывы разумом.

Интерес к истории, прежде всего к истории Грузии, был у него всегда. Это чувствовалось даже в быту. Мне посчастливилось вместе с Иосифом Нонешвили быть на фестивале поэзии в Румынии. Мы познакомились с памятниками румынского зодчества. Иосиф Элизович был здесь не впервые. Он мог легко выполнять обязанности гида, кем и был для всех нас. Восторженный, неутомимый гид-поэт!

Иосиф Нонешвили был поэтом-филологом с историческим мышлением. Он знал историю мира и историю культуры. В этом я

убеждался, беседуя с ним, присутствуя на его выступлениях, участвуя вместе с ним в поездке на фестиваль поэзии в Румынию.

— Хотите прослыть в Румынии настоящим кахетинцем? — спросил Иосиф Элиозович в вагоне поезда и тут же надел на мою голову маленькую круглую шапочку из толстого черного сукна. Я не расставался с ней на всем протяжении нашего путешествия.

— Чувствуете на себе тепло Кахетии, вот и хорошо... Я обратил вас в кахетинскую веру...

Он любил сбор винограда и упоенно говорил о нем. Сбор винограда — ртвели — это и трудовой день, и праздник, и песня, и забота о будущем. Кто знает, какой край можно назвать краем первой лозы. Одни называют Грецию, другую — Малую Азию. Грузинское виноградарство имеет свои традиции и свою мифологию. Иосиф Нонешвили — внутри этой традиции, внутри этой мифологии.

Метафора сбора винограда — сверхобраз его поэзии. Она выражает дух и смысл ее. Виноградная гроздь — на столе поэта и в начальной строке его стихов.

«Там, где вьется Алазань...» Эту грибоедовскую строку повторил Иосиф Нонешвили в ответ на вопрос, где он родился.

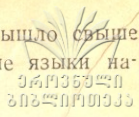
Карданахи — колыбель человека и поэта. Иосиф Элиозович Нонешвили родился здесь в 1918 году в семье кахетинского крестьянина-виноградара. Отец Элиоз Ильич — первый председатель ревкома Карданахи. Семья поэта деятельно участвовала в установлении Советской власти в Грузии. Мать поэта Манана, очень рано им потерянная, работала на винограднике. Иосиф Нонешвили всегда с нежностью говорил о своих родителях, об отчем доме.

В родном селе Нонешвили окончил семилетку. Среднюю школу и филологический факультет университета — в Тбилиси. На последнем курсе его застала война. Вместе со своими сверстниками Нонешвили — в рядах Советской Армии. Он — в частях Закавказского фронта. До конца войны не снимал солдатской шинели.

С 1946 по 1950 год Иосиф Нонешвили работал заместителем редактора журнала «Нианги», а с 1951 по 1963 — редактором детского журнала «Дила». В 1963 году он был назначен на новую работу в качестве главного редактора газеты «Литературиლი Сакартвело». С 1968 года он — секретарь правления Союза писателей Грузии.

В 1938 году в журнале «Чвени таоба» были напечатаны первые стихи Иосифа Нонешвили. Первая книга издана в 1940 году,

Когда автору шел двадцать второй год. С тех пор вышло свыше тридцати книг поэта. Его стихи переведены на многие языки народов СССР и зарубежных стран.



На вопрос о том, когда он начал писать, Иосиф Нонешвили неизменно отвечал:

— Когда начал писать стихи — не помню. Мне кажется, они всегда были во мне. Сейчас я только извлекаю их из какой-то шкатулки...

Мачари — молодое, неперебродившее вино. Есть мачари и стихотворчества. Иосиф Нонешвили первый период работы, свое начало не считал затянувшимся. Он довольно скоро оказался в кругу мастеров. И не стал задерживаться на первой ступени. Он быстро мужал, быстро определялась его поэтическая судьба. Она неотрывна от судьбы гражданской. Этот кахетинец отлично чувствовал свое время, свою среду, своего читателя. Его контакты с аудиторией были мгновенны и безотказны. Кто хотя бы один раз слышал Иосифа Нонешвили у него на родине в Грузии, становился свидетелем того, как аудитория (рабочая, учительская, студенческая) аплодирует ему и прерывает возгласами одобрения не только после каждого стихотворения, но и после каждой строфы. Его публицистика была лиричной. Это имеет свои причины. Гурам Дочанашвили определяет это просто: «И. Нонешвили умел окутать слушателя той волшебной дымкой, которая зовется поэзией. Сколько раз он нарушал однообразие будней своим вдохновенным словом, верой, добротой».

Иосиф Нонешвили — натура поэтическая. Поэзии было в ней столько же, сколько доброты. И то и другое переплескивалось через край. Он был человеком избытка, переполнения, восторга. В стихи попадала только часть этого. Они не могли вместить всей щедрости его натуры. Вот почему так много отдавал он в непосредственном общении людям, прежде всего друзьям, соседям, спутникам. Иосиф Нонешвили был занят круглосуточно. Главным образом — чужими судьбами.

Любовь к классике, почтение к многоопытным, старшим прошло через всю жизнь Иосифа Нонешвили. Он поклонялся старой грузинской литературе от Шота Руставели, Давида Гурамишвили, Акакия Церетели, Ильи Чавчавадзе, Важа Пшавела до современников. При приближении к классикам он трепетал, и улыбка довольства своей жизнью уступала место улыбке восхищения далекими предшественниками. Он чтит современников. Из старших у Иосифа Нонешвили всего больше связей с Иосифом

Тришавили — таково единодушное мнение грузинских критиков.

«Мы не можем назвать такого собрата по перу — великого или малого, — чьих бы стихов он не знал и о чьем творчестве не имел бы собственного мнения», — пишет Элгуджа Маградзе в предисловии к тому избранных произведений Иосифа Нонешвили («Сабчота Сакартвело», 1978).

В 1938 году молодой поэт написал одно из лучших своих зрелых стихотворений. Оно называется «Сказание». Лунной ночью к озеру подошел олень. Он увидел в воде свое отражение.

**Он был недоволен своими ногами,
но очарован ветвями рогов.**

Олень услышал львиный рев, и ноги, так огорчавшие ноги, понесли его на «эйлаг» — горное пастбище. Ноги его спасли. Но в дороге он «ветвями рогов в лесные ветви впутался — и не смог уйти...». Образ можно перенести на бумагу, на полотно, на камень. Но для автора этого мало.

Поэт обращается к возлюбленной: вдумайся в смысл этого древнего сказания, особенно в те минуты, когда видишь в зеркале себя:

**Знай, что лезть добро не подскажет,
будь к похвалам ты всегда строга,
не то красота подведет тебя так же,
как бедного зверя — крутые рога.**

Постоянно, в разные годы жизни и при разных состояниях души, Иосиф Нонешвили думал о красоте и пользе, об их споре и единстве, об их происхождении и проявлениях в жизни людей. Древнее сказание об олене дано как современная лирическая притча, как тонкое, лукавое раздумье о любви.

Через десять лет после «Сказания» Иосиф Нонешвили вернулся к той же теме — красота и ее природа. Очевидно, эта тема его не покидала, жила в нем.

Стихотворение «Эпитафия резчику на камне» (1948) смело можно назвать программным, определяющим эстетические позиции Иосифа Нонешвили.

**Я высекал орнамент Кашуэты,
стучало сердце около камней.
Мне книгу звезд небесные поэты**

преподнесли. И я прочел на ней,
как высекать орнамент Кашуэты.



Кто не любовался красотой Кашуэты — церкви в Тбилиси, памятника древнегрузинского зодчества! Поэт нас приближает к дням ее тврения.

Резчик запечатлел в камне не только побеги лоз, но и свое дыхание. Случилось так, что вместо богоматери мастер воплотил в камне образ своей любимой.

В этом стихотворении содержится мысль о глубоком соотношении жизни и искусства, о природе последнего, о месте красоты в духовном развитии человека, общества.

Мастер-резчик, герой этого стихотворения, обращается к потомку — путнику:

Так слушай, незнакомец! Если ты
моим трудом пленишься, и черты
орнамента сверкнут тебе в пути, —
тогда мой грех тяжелый отпусти...

Так — по воле поэта — мастер древней Грузии ведет беседу с нашим современником через века, через горы времени. Это свойство Иосифа Нонешвили — преодолевать толщу времени, свободно перемещаться из эпохи в эпоху. Он это делает свободно, естественно и, что особенно важно, со знанием дела.

«Тростниковая шея царицы Тамары» — образ, изобличающий в поэте тонкое и острое видение старинного миниатюриста. Поэт любит изображать пейзаж задушевно, вкладывая в него весь свой лиризм. У него тонкая кисть, передающая как тона, так и оттенки. Но стремление к «глобальным темам» и «титаническим образам» уводило его от присущего ему дара — певучей словесной линией передавать зримый мир, краски этого мира.

Если обозначить флажками города и веси мира, которые посетил Иосиф Нонешвили, то карта повсеместно будет густо им усеяна. Поэт передвигался легко, охотно, смело, как и подобает поэту. В путь собирался мгновенно, в любое время суток. Его любознательность была неистощимой. Греция и Япония, Индия и Франция, Соединенные Штаты и Италия... И неизменно: после Афин — Кутаиси, после Парижа — Бакуриани, после Софии — Тбилиси, всего желанней Тбилиси, улица Кекелидзе, рабочий стол, настольная лампа.

Образ дороги — излюбленный. Все средства передвижения



служат общительности поэта. В дороге Иосиф Нонешвили был весел, молод, остроумен. Он беседовал и нередко выпадал на седы, смотрел на собеседника отсутствующим взглядом. Но вдруг родившиеся стихи он иногда забывал записывать. Ход беседы поглощал их. И они далеко не всегда всплывали позднее в памяти.

Поездки по миру, большие расстояния, этническая пестрота Земли — все это запечатлялось в поэзии Иосифа Нонешвили не столько «путевыми зарисовками», сколько историко-философскими раздумьями о судьбах человечества.

Насколько поэт любил дорогу, настолько же опасался дорожных стихов. С датами и указанием места написания. Со сведениями, почерпнутыми из путеводителей и справочников. Легкого популярного способа изготовления такого рода книг. Впечатления от поездок накапливались в поэте, как «запас поэтической жизни», как материал для новых размышлений, а не как непосредственные темы для стихов. В новых поездках Иосиф Нонешвили продолжал развивать свои образы, давая им все новые задачи, испытывая их.

В беседах наших то и дело возникала Грузия и ее культура. Мы определяли общность интересов к разным эпохам и разным деятелям античности — поэтам, скульпторам, ораторам. Мы делились друг с другом новыми стихами. Так возникла у меня потребность перевести «Греческую тетрадь» Иосифа Нонешвили.

Так случилось в жизни, что мой путь
уводил меня в другие страны,
чтоб на лире нашей натянуть,
словно струны, все меридианы.

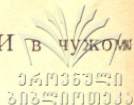
Ведь недаром, где бы ни был я,
я носил в себе печаль разлуки,
для тебя искал, страна моя,
и цвета, и запахи, и звуки.

На любых дорогах мира его ждали новые ассоциации со знакомым и родным, с грузинским, общекавказским, общесоюзным.

Шапку грузинскую
он не снимал,
душу грузинскую
он не сменял.

Трасса по карте,
путь по планете...
Тянется Картли!
Длится Кахети!

Да, он вез за собой, в себе всю свою землю. И в чужой находил свое.



Из стихов И. Нонешвили встает привлекательный образ Бесики, грузинского поэта, похороненного в Яссах. Обращаясь к незнакомке, он с сожалением говорит, что она не знает «языка Бесики и языка Шота». Образ поэта не давал ему покоя.

Слоняюсь я все дни,
бессильный,
безъязыкий,
Меня ты осени,
божественный Бесики!

Более половины времени в Румынии мы провели в местах, связанных с жизнью просветителя и реформатора румынской церкви, грузина по происхождению, митрополита Антима Ивиреанула. Это имя Иосиф Нонешвили знал с детства. Во время своего посещения Румынии поэт собирал материалы об Ивиреануле, готовясь, как он говорил мне, к поэме или балладе о своем знатом земляке.

— Мне порой кажется, что Антим идет рядом со мной или вот-вот выйдет из-за угла мне навстречу. И тогда я вас познакомлю.

С нескрываемой гордостью рассказывал Иосиф Нонешвили о том, как из Румынии в Грузию приезжал поэт Д. Ион, подготовивший в Бухаресте антологию грузинской поэзии от древности до наших дней. Рассказывал о переводчике поэмы Руставели на румынский язык В. Кермбахе. Перевод был издан и в Бухаресте, и в Тбилиси. Сколько души вложил Иосиф Нонешвили в эти работы, знакомя румынских друзей с Грузией и ее культурой! Много работал поэт над переводами стихов румынского классика Эминеску. Свои переводы он читал в Яссах, на фестивале поэзии.

В Болгарии Иосифа Нонешвили называли с нежностью — братом. Он любил приглашать друзей в Грузию и показывать им страну. Однажды к нему в гости приехал болгарский поэт Андрей Германов. Впоследствии он написал стихи в честь грузинского собрата, в которых были такие строки:

...С тобой мы братья, Иосиф Нонешвили,
Соединила нас одна мечта,
Одна у нас с тобою высота,
И от нее мы глаз не отводили...



Теперь среди нас нет ни Иосифа Нонешвили, ни Андрея Германова. Остался их восторг, запечатленный в стихах, осталось их дружеское рукопожатие, их восклицание — «одна у нас с тобою высота». Как быстро день нынешний становится днем вчерашним. И литература вместе с искусством берут на себя право удержат вчерашнее и даже перекинуть его в будущее...

Он пил, по словам Маяковского, «из реки по имени факт». Сегодня он пишет стихи для газеты с тем, чтобы завтра до рассвета встать и не пропустить шелестящего сладостного звука опускаемой в ящик почты. Он раскрывал газету и читал вчера написанные стихи. Он знал, что они ненадолго. Они завтра уйдут в подшивку, уйдут из поля внимания читателя. «Умри, мой стих, умри, как рядовой, как безмянные на штурмах мерли наши», — мог за Маяковским повторить Иосиф Нонешвили эти от-важные строки.

Факт его интересовал постольку, поскольку от него можно было вырваться к обобщению. В «Греческой тетради» есть два стихотворения о Байроне. Возьму одно из них. На колонне храма Посейдона в Греции сохранились надписи экскурсантов разных веков. Гиды о них говорят возмущенно, вызывая презрение к племени тщеславных путников и бродяг. Но одно имя они проносят не без гордости. Имя Байрона. И он, певец Чайльд Гарольда, не устоял перед соблазном мнимого бессмертия. Этот факт послужил Иосифу Нонешвили отправной точкой для стихотворного трактата о природе славы.

Почему этот мрамор его так манил?
Разве камень прочней, долговечней чернил?
Может, гений признал свою бренность,
Недостаточность, неполноценность?
В глыбу жизни народа
Он врезал свои письмена,
Но и в камень возжаждал на вечные времена
У эпох на краю
Врезать подпись свою.

Забавный факт навел поэта на размышления, которые вобрали в себя большой жизненный материал.

Подчас же факт, исторические реалии отвергаются во имя

высшего смысла. Во имя сути. «Если верите в его бессмертье, ищите могилы Руставели», — говорит Иосиф Нонешвили. И в его словах чувствуется запал полемиста:

Пусть для нас останется преданьем
жизнь его от самой колыбели.
Не глушите звон струны рыданием...
Не ищите
могилы Руставели.

Легенда, сказка, миф, предание — все это оказывается не меньшей, а большей реальностью, чем единичный, хотя и впечатляющий факт.

Добрыми глазами глядел поэт на современность и современников. Он внушал людям свою веру в красоту бытия.


День так просторен и так обнажен,
Что в кратковременность жизни не верится.

Доброта человека в некоторые эпохи выглядит отвагой.
Доброта, если она не категория, а трепет жизни.

«Он был щедр и не походил на тех людей, которые всегда твердо помнят, что в рубле содержится пять двугривенных, или — еще лучше — двадцать пятаков, или — что совсем прекрасно! — сто копеек», — говорит Гурам Дочанашвили в статье, названной «Народный поэт» («Литературули Сакартвелო») и посвященной Иосифу Нонешвили. Автор статьи говорит о личном впечатлении от книг поэта, убеждавших, «какой безукоризненной «техникой» стиха (или вернее — мастерством) он владел. Такие стихи хочется петь, и множество его стихотворений стали песнями...»

По общему признанию, Иосиф Нонешвили был гением дружелюбия. Безотказно, постоянно действующего, более надежного, чем скорая помощь. Утром он выходил в город. Жизнь улицы волновала его. Он был окружен людьми, тополями, воздухом Тбилиси. Здесь все его узнавали по улыбке. Улыбка шла впереди него. Незнакомые сразу же входили в круг завтрашних знакомых.

Переводчики из Лондона Алан и Шейла Браун свидетельствуют: у англичан не принято непосредственное, открытое, неудержимо восторженное изъяснение чувств. Иосиф Нонешвили явил им пример именно такого изъяснения чувств. И этот пример был столь заразителен, что «обратил их в веру» поэта, о чем они



сообщают в письме к его жене Медее и сыну Сандро. «Как вы знаете, англичане не любят демонстрировать свои чувства». Иосиф научил меня (пишет Алан Браун) собственному правилу, и я его придерживаюсь, хотя многим англичанам это кажется «странным».

«Он никогда не скрывал радости, когда его узнавали на улицах, и по-ребячески провоцировал это узнавание, раскланиваясь направо и налево», — верно уловил Евгений Евтушенко нечто важное в его характере и поведении. Он выходил из дома на улицу не как из своего мира в чужой мир. Нет, улица была продолжением дома. С каждым встречным ему не терпелось поговорить. И это существенная черта не только его человеческого характера, но и особенность его поэзии. Открытость, готовность номер один — выслушать, увлечь, ответить, обнадежить, помочь, ошастливить.

В Тбилиси у него было множество друзей. Читателей, слушателей, собеседников. Редкий случай среди писателей: он любил, чтобы его беспокоили. В Ленинграде и в Вильнюсе, и в Киеве, и в Бухаресте он вел себя так же. Человек с человеком не может не быть знаком — на этом он стоял. И поэзия Иосифа Нонешвили выражает это рвущееся из души дружелюбие. Оно, так же как ртвели — сбор винограда, — сверхзадача его искусства.

«Поэзия И. Нонешвили, как и его отношение к людям, исполнены доброжелательства; за строками большинства его стихов чувствуется сердце, открытое для добра, для любви», — пишет Лавросий Каландадзе в книге «Литературные зарисовки».

Не надо, однако, думать, что в лице поэта мы имеем такого добрячка, расточающего без разбора свои ласки встречным-поперечным, такого добрячка-импровизатора. Нет, в этом человеке появлялись гнев и ярость, негодование и протест, когда вставала реальная угроза для народных завоеваний, для ценностей культуры. Он был рыцарем социальной справедливости, работником советского строя. Он не подмигивал нашим недругам, находясь за рубежом. Двойного счета не вел.

«Друзья повсюду» — так называется один из важных в творчестве Иосифа Нонешвили циклов. Россия и Украина, Армения и Латвия, Казахстан и Белоруссия приведены в стихах не только символически. В жизни этих республик, в истории их народов грузинский поэт ищет и находит черты общности и близости. Так, в цикле стихов о целине, о людях, ее поднимавших («На земле Казахстана»), он проникновенно говорит о жителях Средней Азии, при этом понимая их душу. Так, в стихах об Армении им сделана попытка проникнуть в мир своих соседей:



Был ли в Армении, был ли я в Латвии,
 На украинских ли ласковых нивах, —
 Слышал у горнов,
 Слышал на жатве я
 Песню друзей моих трудолюбивых.

Лирик по характеру своего дарования, Иосиф Нонешвили не раз обращался к эпосу. Такова, например, «Повесть об одной девушке», которая, несмотря на желание автора придать ей сюжетное и образное единство, по существу становится цепью лирических фрагментов, своего рода стихотворной сюитой.

«Моди-нахе» — название крепости и стихотворения. В переводе это означает: «приди посмотри». Для Иосифа Нонешвили эта человечность, явленная в названии, не менее важна, чем ратная слава горной твердыни. Жест его — человеческий и поэтический — был приглашающим, зовущим, приветствующим. И он умел позвать молодежь на взятие высот науки, и пригласить путника разделить с ним завтрак.

Он умел ценить миг и час, и день, и свое настроение, и настроение друга, и чувство, возвращающее его к поэзии, внушающее ему серьезную думу о жизни.

Касаясь небес тополями, Тяжелые розы, как пламя...
 Бежала дорога прямая... Сигнахи, двадцатое мая.

Мы не знаем, что произошло именно в Сигнахи и именно двадцатого мая, но поэт назвал место и время действия, и мы следуем за ним в его тайное тайных. Мелодика стиха открывает подчас больше, чем обычное сообщение.

Он не признавал приоритета слова над смыслом, хотя и не позволял смыслу безраздельно властвовать в ущерб мелодике стиха, переливам живого голоса. Но напевность речи, сокрытые в недрах слова возможности всячески обнаруживал и обнажал. И весь инструментарий стиха служил у поэта высшим целям — поиску истины, сути бытия. Он был распорядителем богатств родной речи. И для него красота слова совпадала с его правдивостью «Он говорит на неиссякаемом языке, — пишет Жорж Буклен из Бельгии, посетивший Грузию летом 1977 года.—Его речь кажется созданной для тостов так же хорошо, как и для поэзии».

«Мы покоряем космос. Но есть еще и другой космос — вселенная человеческой души. Войти в нее, освоить ее — это благородная цель каждого художника», — писал Иосиф Нонешвили в статье «О себе». Эта пора конца пятидесятих-шестидесятих годов ощущалась им как творчество нового эпоса. Мироздание

и атом перекликаются, и все это находит отражение в чуткой душе человеческой.



Движение Иосифа Нонешвили от ранних стихов к зрелым и поздним шло без видимых рывков, естественно, при верности раз и навсегда выбранной манере. Восторженность, умение удивляться и радоваться миру остались при нем, в нем, как постоянно действующие человеческие и поэтические качества. Но с годами рядом с этой восторженностью возникало неторопливое раздумье о мире и людях, углублялось их понимание, раскрывались не только празднество, карнавальность жизни, но и ее драматизм.

Признано, что доминантой у Иосифа Нонешвили является восторг перед жизнью. «Мы напрасно искали бы в его стихах жалоб, нытья, причитаний, обид. Слезливые стихи Иосиф не любил, хотя испытал безрадостное и тяжелое детство, — справедливо утверждает Элгуджа Маградзе. — ...Высочайшим назначением поэзии Нонешвили считал излечение от страданий». Верный способ преодолеть страдания — быть всегда в мире с людьми, жить и работать в содружестве с ними.

Поэт отзывчив. Понимает печального и обиженного. Он спешит помочь им. У него потребность творить добро и не говорить об этом. Он счастлив, если может печального и обиженного сделать радостным и восторженным, подобно себе...

Одиночество — враг поэзии Иосифа Нонешвили, его личный враг. Он там, где двое, по меньшей мере двое, по крайней мере — двое.

Тыходишь в залу павоу
На паре каблукков,

Украшенная пароу
Гишеровых зрачков.

Зровей — пара, губ — пара, «им хорошо вдвоём».

Их дружное соседство
Тебе судьбой дано.
Так почему же сердце
Одно,

одно,

одно?!

Ах, если бы ему
Стать парой моему!

Лирика и юмор идут бок о бок, здесь хочется сказать — в паре. И это «дружное соседство» выглядит естественно.

Поэт сочетает природу и любовь. И вот его вывод:

Весна без любви —
Это не весна!



(Подстрочный перевод)

Этот же образ получает философское наполнение:

Если не веровать
В бога любви,
То зачем же являться на эту землю
Ради одних мучений?

(Подстрочный перевод)

«Была б на то моя воля, писал бы только стихи о любви. Они сами пишутся. Но душа занята другим прочим, в том числе таким, что мешает любви», — говорил Иосиф Нонешвили. И после паузы: «Борьба за мир — это тоже моя любовь...»

Иосифу Нонешвили свойственно не только упоение красотой природы и радостями бытия. Мы находим у него гневную инвективу, когда дело касается недругов, сатрапов, тиранов, деспотов. Шах-Аббасу, принесшему Грузии столько бед и несчастий, он посвящает «перевернутый сонет». Сперва идут, вопреки обычаю, два терцета (трехстишия), а потом два катрена (четверостишия). Уже одно это звучит издевкой над Шах-Аббасом. Он как бы поставлен с ног на голову. Но все содержание, весь пафос стихотворения дышат ненавистью к завоевателю.

Ни шахский трон, ни смерть, ни рифма не спасет
того, кто нас обрек на горечь и страданья,
и ждет поэзия злодейству воздаянье,
и я тебе сонет пишу наоборот.

Гнев и негодование обрушивал Иосиф Нонешвили на фашистов и неофашистов, на поджигателей войны, называя все и всех своими именами.

У одного жизнь — дорога на работу с портфелем или папкой. У другого — путь из города в город. У третьего жизнь — восторженный тост. Жизнь и поэзия Иосифа Нонешвили исполнены патетики. Он любил все приподнятое, ликующее, яркое. Не чуждался некоторой помпезности, праздничности, карнавальности. Чем больше людей разделяло его ликование, тем большим, тем более полным было его чувство.

— Вы не спите? — позвонил он мне однажды из гостиницы.

— Что случилось? — всполошился я.

— Да ничего. Что-то долго не наступает рассвет. Может быть, я возьму машину, и мы поедем за город встречать рассвет?..



И мы поехали в сторону Москвы-реки. Встретили рассвет и вернулись в город, захлестывая друг друга стихами. Поздней понял, что, проснувшись среди ночи в московской гостинице, он не мог оставаться один. Ему нужны были спутник, улыбка, диалог — не для зеркала, а для другой души.

Он тянулся к поэтам, которых принято называть «фронтальным поколением». Его друзьями после Первого Всесоюзного совещания молодых стали М. Луконин, А. Межиров, С. Наровчатов, С. Гудзенко, А. Недогонов, С. Орлов, М. Дудин, М. Львов. Этот перечень по справедливости можно и должно увеличить за счет поэтов союзных и автономных республик и краев. Всюду у Иосифа Нонешвили были друзья и единомышленники, в данном случае следовало бы сказать — однополчане.

Со своими однополчанами Иосиф Нонешвили переписывался, ездил к ним в гости, приглашал их к себе. Друзья обменивались шуточными и серьезными посланиями, переводили друг друга, писали друг о друге. Чаще всего в Грузии и за ее пределами имя Иосифа Нонешвили сочеталось с именем Реваза Маргиани, с именами поэтов, прошедших суровую школу боев.

«Память войны» крепка была в поэте, воспаленные зоны воспоминаний давали о себе знать и в лирике, и в эпосе Иосифа Нонешвили. Это, впрочем, были не только воспоминания. Образы войны служили делу борьбы за мир.

Долгие годы, вплоть до дня своей кончины, Иосиф Нонешвили возглавлял грузинский Комитет защиты мира. Это была работа, поглощавшая силы и время поэта. Он считал ее существенной частью своей именно поэтической миссии — лирик восставал против гонки вооружений, лирик оберегал сон младенца и песню соловья, школьный урок и прогулку влюбленных.

В Грузии Иосиф Нонешвили показывал иностранцам исторические красоты своей страны, за рубежом представлял свое отечество. Скольким людям, впоследствии писавшим статьи и книги о Грузии, он передал свое восхищение, свои знания. И это тоже была поэзия. Не стихи, но — поэзия.

Спрашиваю:

— Вы не устаете показывать по нескольку раз в неделю Джвари и Светицховели?

— Нисколько! — отвечает. — Я слушаю, как они ведут свой многовековой диалог. Джвари и Светицховели, взгорье и равнина. Разве от этого устанешь?..

Он жил нынешним днем. И — будущим.

Философские размышления поэта о странностях любви и движении светил прерывались заботами о нынешнем дне. Звонок

из редакции с просьбой написать стихи на злобу дня не оставался без ответа. Иосиф Нонешвили любил запах свежей газетной полосы, где его имя «в поэтической рубрике» рядом с телеграммами с места и хроникой недели. Любя это, он не боялся банальности схемы, лозунговости, замены живой образности императивом восклицательных знаков. Мягкий свой лирический голос поэт заставлял звучать достаточно громко. И он звучал, звеня от напряжения.

Он не проходил мимо трибуны и кафедры. Площадь? Хорошо. Людное сборище — оно не может не привлечь такого поэта, как Иосиф Нонешвили, всегда рвавшегося навстречу людям. И он не мог без людного сборища. Речь его льется вольно, без потуг, от сердца к сердцу. Каждый из слушателей полагает, что Иосиф обращается именно к нему. И он не обманывается. Иосиф неутомим. Его ждет много дел. Замыслы теснятся — надо их воплощать. Но люди просят его читать стихи. И он читает. Разве можно отказать людям в их просьбе?

Он читает, и люди верят:

**День так просторен и так обнажен,
Что в кратковременность жизни не верится.**

Голос поэта с его задушевными интонациями мгновенно подхватывался современниками. Словарь, ритмика, рифма—все это находило мгновенный отклик. Лавросий Каландадзе отмечает «изумительное многообразие столь естественных для него, не затрепанных, а свежих и неожиданных ассонансных рифм, которые входят в его стих так легко и непринужденно, что их поначалу сразу можно и не уловить».

Шли годы. Шли стремительно. Поэт не хотел от них отстать. Он стремился вписаться в эпоху. Вместе с ее достоинствами и огрехами. Бессмертие он видел в этом. Он говорил — его слушали и понимали. Люди говорили — поэт слушал их и вдумывался в их слова...

...Когда идешь по кахетинскому ущелью причудливо петляющей дорогой, то видишь вдали стену — «у бездны на краю». Древняя стена испещрена темными крапинками. Вблизи уже отчетливо видишь, что это гнезда горных ласточек, гнезда, похожие на сердечные сумки. Разрезая воздух, вылетают из гнезд ласточки и кроют звонкую синеву. И в их щебете, в их звонком шорохе я слышу нечто близкое по звучанию к имени поэта. Иосиф Нонешвили! Может быть, мне это почудилось, но нет, нет, это именно так. Ласточки Кахетии несут над долиной Кахетии имя певца Кахетии.



ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ИЛИ ВСЯ ЖИЗНЬ

ТАК оно и есть. Четверть века, за которые написаны статьи, вошедшие в книгу «Искусство слова. Слово об искусстве», обернулись целой жизнью и для тех, кто в эти годы искусство создавал, и для тех, кто умел вовремя отметить его своим многозначным и добрым вниманием. Четверть века литературы и искусства, запечатленные в книге Этери Думбадзе и Георгия Маргвелашвили, рождают в нас раздумья не только о предмете авторского исследования, но и о том времени, в которое эти исследования рождались, о принадлежности их времени.

Время измеряется содеянным людьми. По насыщенности событий, по интенсивности художнического поиска, по размаху и полетности творческой мысли прошедшие четверть века и впрямь исполнены огромного множества откровений. А говоря точнее, к этим откровениям прошедшие четверть века как-то удивительно располагали художников. И авторы книги ведут читателя по живым, нестершимся следам времени, и каждая деталь, каждый штрих его — частица пережитого, и потому неиз-

бежно кровного, личностного, эмоциями отмеченного.

Вот что они пишут: «Явления литературы и искусства не воспринимались нами в отрыве друг от друга, и все четверть века мы в равной мере дышали любовью к поэзии и прозе, балету и драме, к искусству кино и изобразительному искусству». И в самом деле, в книге обозреваются все эти аспекты, создавая широкий фон их поступательного движения. Авторы же считают, что каждый волен относить свою сосредоточенность к той или иной сфере искусства, склоняя к ней свои симпатии. Ощущение единства и монолитности книги не нарушается от этой многоликости, напротив, при внимательном ознакомлении с материалом оно убедительно свидетельствует о себе.

«Чистый источник» — таково название первой статьи и в честь нее, стало быть, всего первого раздела книги. Название статьи и раздела сразу же бьет в цель. Образ Малой Земли и образ Леонида Ильича Брежнева мгновенно вводят читателя в мир авторского повествования. Подобно источнику, которому не суждено иссякнуть, не иссякает и все то, что ассоциируется с его живительной силой, исполнено жизни и вечного движения и потому бессмертно. Г. Маргвелашвили (он — автор первого раздела) пишет: «Малую Землю» Леонида Иль-

ича Брежнева советский народ сразу же воспринял и по праву оценил как чистый источник духовного и практического, боевого и трудового, гражданского и человеческого опыта». А это ли не угол зрения для критиков-литературоведов, критиков-искусствоведов? Не сквозь призму ли этих высоких нравственных и политических идеалов прослеживаются здесь мудрые строки исповедальной книги Леонида Ильича Брежнева, значение которой невозможно переоценить. И приходишь к выводу, что вовсе не случайно повествование открывается именно этой статьей. В ней, как в фокусе, соединилось многое из того, о чем поведут авторы свое слово об искусстве — «Чистый источник» стал источником авторской позиции. От него протягиваются нити к остальным статьям сборника, при этом не столько тематически, сколько этически, нравственно, по существу.

По существу (а не только тематически) связана с этой статьей и статья «Поэзия и подвиг». Здесь Г. Маргвелашвили рассуждает о грузинской литературе, во всеоружии встретившей войну. Но разговор о поэтах Грузии военных лет увязывается им с проблемой братства грузинской и русской литературы. Говоря о Симоне Чиковани, Г. Маргвелашвили вспоминает русского поэта Семена Кирсанова — их устами определяет он существенные вехи на литературных дорогах.

Полет авторской фантазии рождает и другие ассоциации — многое роднит Ираклия Абашидзе с Александром Твардовским, считает Г. Маргвелашвили и так формули-

рует свою мысль: «Разве это случайное совпадение? Видимо, в пору величайших невзгод, в минуты наибольшего напряжения физических и духовных сил даже у разделенных друг от друга временем и пространством людей в лабьются сердца, и у них вырываются схожие слова — простые, самые заветные, единственные, сладчайшие и святейшие, такие, как «мать», как «любимая», как «родина», как «жизнь»...

По этой же неумолимой логике сродства душ выстраивают авторы и остальные свои литературные изыскания. На протяжении всей книги сердца грузинских писателей бьются в унисон с сердцами художников слова как русского, так и других народов. И это не только в войну. Книга несет на себе отпечаток единства и братства всех народов нашей страны. «Параметры» авторских обзоров непомерно велики и вбирают в себя обилие имен и явлений. При этом, что самое важное, — имен и явлений новых, порой малоизвестных, которых автор первого раздела непременно хочет сделать известными — того гребуют факты, события и свершения. И пусть порой мало между собой «смыкаясь», они все-таки представляют собой единое целое хотя бы уже в силу того, что попали в поле зрения литературоведа, стали объектом его внимания.

Г. Маргвелашвили угадывает умение молодого поэта Марины Кудимовой заглянуть «через край» и считает, что «такие мышцы играют на ее поэтической «деснице» и «шунце», что остается перекрестить — с благодарностью и «ис-

пугом» одновременно. С чувством огромного облегчения окунается автор в стихию поэзии Екатерины Квитницкой, «где даже весьма серьезные чувства и перипетии драмы переданы с природным артистизмом своего рода русской комедии дель-арте». Он восторгается музыкой стихов Яна Гольцмана, чистотой и ясностью пейзажной миниатюры Бориса Резникова — старого своего друга, поэта божьей милостью, возвратившегося не так давно в лоно поэзии. Автор приветствует Сергея Борисова, Ивана Жданова, Георгия Лория, Зою Масленникову, Александра Леонтьева, Леонида Замятина, Паолу Урушадзе, Марину Бакрадзе, Н. В. Комову, Владимира Тереладзе и других, считая своим писательским долгом представить читателю все то новое, что рождает ежедневно на свет поэзия, объединяя поэтов под сенью «вещего знака» любви и дружбы народов.

Неудивительно, что под сенью «вещего знака» пребывают в книге писатели, которые, собственно говоря, определяли в наше время смысл и суть его существования, стояли у его истоков. Это — М. Горький и В. Маяковский, Б. Пастернак и Н. Тихонов, А. Тарковский и Н. Заболоцкий, П. Антокольский и К. Симонов, М. Дудин и Б. Лившиц, М. Луконин и А. Межиров, Е. Николаевская и И. Снегова, Е. Евтушенко и А. Вознесенский, Б. Ахмадулина и Ю. Мориц, Э. Фейгин и Г. Мазурин, В. Леонович и Б. Цыбулевский. Можно ли перечислить всех, кто, говоря словами Георгия Маргвелашвили, свидетельствует «о содруже-

стве поэтов, литератур, культур, о содружестве, ставшем естественным и уже закономерным воплощением процесса собственно творческого, универсальная многоликость которого не переходит в размытую безликость благодаря извечной и вековечной закваске индивидуально-поэтического и национально-самобытного начала любого художественного творчества».

Разнообразие и многоликость характеризуют и второй раздел книги «Цель творчества — самоотдача». Эти слова Б. Пастернака легли в основу подборки статей о театре, кино, о людях искусства, объединив их внутренней общностью, предопределив смысл и настрой повествования. Статьи, написанные в разные годы, выхватывают наиболее приметное, ставшее вехой в обновлении и восхождении грузинского искусства.

Внимание авторов привлекают и сложность процессов, сопутствовавших стилистическим преобразованиям художественных принципов театра имени Руставели; и появление ростков нового в актерском искусстве, проявившееся в студенческом спектакле театрального вуза — «Последние», «открывшем» грузинскому театру О. Мегвинетухуцеси, Ир. Учанейшвили, Н. Мглоблишвили; и прекрасный спектакль грибоедовцев «Дни Турбиных» в постановке Л. Варпаховского; и первые шаги на поприще драматургии Р. Табукашвили, выступившего с пьесой «Секретарь райкома», которая сыграла немаловажную роль в жизни театра имени Марджанишвили; и процесс зарождения театра пантомимы под руководством А. Ша-

ликашвили; и начало кинематографической жизни Т. Абуладзе и Р. Чхеидзе, создавших свой шедевр «Лурджа Магданы».

Э. Думбадзе пишет, что об этом фильме «можно говорить не только как о произведении зрелых мастеров, но и как о достижении грузинской кинематографии в целом, а в известном смысле как о новой его странице, восстанавливающей ослабленную за последнее время связь с лучшими его традициями». Согласитесь, что сегодня слова эти воспринимаются как пророческие. И если учесть, что следующая за этим статья — «Хранить на земле человечность» посвящена фильму Р. Чхеидзе «Отец солдата», то можно считать, что пророчество критика стало явью.

Второй раздел книги завершают статьи о художниках. Авторы восхищены личностью Татьяны Сергеевны Шевяковой, собирательницы и хранительницы копий древнегрузинских стенописных орнаментов и росписей, неутомимая, подвижническая деятельность которой приводит их в изумление. Статья о Т. С. Шевяковой так и названа — «Подвижничество».

Здесь же — рассказы о художниках Лери Чочиа и Георгии Зурабове, о «рыцаре улыбки» — Гигле Пирцхалава.

Последний раздел сборника составили статьи о грузинском советском балете и его создателе Вахтанге Михайловиче Чабукиани. «Победная поступь искусства» — таково общее название раздела. Оно выражает самоочевидность творческой миссии великого тан-

цовщика и балетмейстера нашего времени, его вклад в развитие не только грузинского, но и всего советского реографического искусства.

О Вахтанге Михайловиче Чабукиани написано немало исследований, книг, статей. Но читая «Победную поступь искусства» (большинство статей этого раздела принадлежит Э. Думбадзе), понимаешь, что мало кому из балетных критиков удалось так последовательно и тонко воссоздать образ большого художника, проследить основные вехи на его творческом пути и рассказать о всех его победах, как это сделано в статьях Э. Думбадзе.

И хотя каждая из статей написана по специальному поводу и носит в большинстве своем характер рецензий на отдельные спектакли, в синтезе своем они отмечены обобщениями и выводами, создающими целостность, объемность, масштабность содеянного мастером, его художественный портрет.

Статьи о В. М. Чабукиани несут на себе печать широкого изображения событий, сопутствующих его жизни в балете, его профессиональным принципам. Здесь возникает множество авторских ассоциаций, неординарных сравнений и параллелей, пронизанных эмоциональностью видения и глубоким пониманием смысла происходящего.

Перед глазами читателя проходят живые картины чабукианевской славы, принесшие славу всему грузинскому балету и навсегда оставившие восторг и гордость в сердцах современников.

«Наследование традиций и обновление этих традиций —

вот черта, красной нитью проходящая через все творчество В. Чабукиани», — пишет Э. Думбадзе, и, может быть, именно в этом и заключается то самое существенное, что пестовало всегда его победную поступь в искусстве, без чего не могло бы быть его движения вперед.

Книга Э. Думбадзе и Г. Маргвелашвили «Искусство

слова. Слово об искусстве», выпущенная на русском языке издательством «Мерани» живая книга. В ней нет научного «заумья». Она читается легко и с увлечением, потому что написана свободно и раскованно, а главное с сознанием того, что цель творчества — самоотдача.

Этери ГУГУШВИЛИ

ЭТО ДОБРОЕ СЛОВО „ИМЕДИ“...

В НАЧАЛЕ — несколько слов искреннего огорчения. Взяв в руки недавно сошедшую с печатного станка издательства «Мерани» книгу «Преодоление» тбилисского поэта Глана Онаяна, я вдруг подумал, что раскрыть ее как-то не хочется. Одежка сборника к чтению явно не приглашала — совсем наоборот! По полю обложки неопределенного цвета, через нагромождение школярской мази черным и белым, тянулось панкосок трудночитаемое слово, писанное доморощенным лжекурсивом и притом столь непрофессионально, что «ПРЕ...» легко прочитывалось как какое-то «ТХЕ...» Словом, внешний «декорум» книги не очень-то вдохновлял. И это замечание представляется вовсе не праздным: редко встретишь сейчас поэтический сборник, оформленный столь кустарно. Возьмем в ка-

честве противоположного примера хотя бы «Иверскую сторону» Юрия Рященцева, с любовью выпущенную нашим «Мерани» только что...

Но воистину: «Встречают по одежке, провожают по уму». И банальная эта пропись невольно припомнилась, когда книга была прочитана и осмыслена. «Преодоление» оказалось убедительным свидетельством творческого развития поэта, самобитно тяготеющего к пристальному осмыслению внешне простых и, казалось бы, примелькавшихся проявлений жизни. Но тем и прекрасна поэзия, тем и поразительны ее тайны, что увиденное глазами настоящего художника всегда ошеломительно и неожиданно. В стихах книги «Преодоление» еще более явственнее, чем в «стартовом» сборнике Глана Онаяна «Первый звонок», или, скажем, в «Звездном веке», проявились особенности его дарования: обостренная философичность, тщательная огранка формы, вдохновенный поиск неожиданной самостоятельной рифмы. Налицо столь явно любовная работа с русским сло-

Напомним: «имеди» — это значит «надежда». Такое, по сути своей, по многозначности своей, по многогранности вкладываемого в это понятие смысла, истинно грузинское слово...

Поэтом в обозреваемом сборнике запечатлены просто поразительные по своей точности, единственности и характерности волнующие приметы Сакартвело, ее духа, ее людей. И каждая свидетельствует о Грузии, о Тбилиси, о грузинах и их сути так ярко!

Удивительно достоверностью своих ощущений и точностью красок стихотворение «Пиросмани». Всего одиннадцать строф, а в них — весь мир чудо-художника, навсегда и неисцелимо обжегшего наши сердца. Обращаясь к Пиросмани, поэт восклицает:

Достань же кисти из котомки
И краски с горем пополам,
Чтоб воскурjali днесь потомки
Тебе музейный фимиам...

С волнением и восхищением пишет Глан Онаниян о грузинских зодчих и чеканщиках, поэтах и пекарях, зурначах и красильщиках, лудильщиках и ковроткачах, оружейниках и каменщиках. И делает это вот как:

Никто его не знает по фамилии,
Никто не вспомнит имени его.
Но в гранях камня—строгие и милые
Черты творца—полет и торжество,
И в каждом камне, будь он неотесанный
Или резной—от храма и дворца—
Живут нерасторжимо связь с утесами
И воля вдохновенного творца...

Любовь к Грузии — едва ли не главный нерв сборника «Преодоление». Удивительная точность мироощущения поэта

невольно передается читающему эту книгу. Глан Онаниян убедительно говорит о чуде стихотворчества, акварельно запечатлевающего самые тонкие эмоции человека (стихотворение «Что может фокусник»), о «целительном бальзаме» стихов певца дружбы народов Закавказья, «трехгорлого соловья» Саят - Нова, спящего в стократ воспетой им тбилисской земле, о «третьем оке, глазе души» человека — совести его, о сладостности труда — первоосновы всего сущего...

Философичность этой доброй книги неотделима от ее простоты, от утверждаемой многими точными и пронзительными строками вековечности естественных и прекрасных побуждений, дум и восприятий человека. Ну, хотя бы таких, как воистину филигранно выраженное автором размышление о счастье:

В чем счастье, если
разобраться?
А может быть, ответ таков:
На крышу старую взобраться,
Минуя рухлядь чердаков,
К шершавой смуглой черепице
Прильнуть обветренной щекой,
И никуда не торопиться,
Вкушая солнечный покой,
Смежить усталые ресницы,
И улыбнуться детворе,
И самому себе присниться
Мальчишкой вечным во дворе.

Сколько чистоты и подлинности в этих безыскусных словах, пролившихся словно тихие слезы...

Представляется обязательным сказать об искусстве пейзажной поэтической зарисовки, об



умении найти поразительно точную деталь, штрих, подробность, которыми так явно владеет Глан Онанян — поэт, в целом, казалось бы, склонный к психологической углубленности. «В час, когда червонцами соря, Озорная вскинется заря» или «Морские камни и морские дали, Округлые, как камни, облака... Здесь каждую песчинку обкатали Века и волны, волны и века», или «Поэзия с грозой вдвоем. Они одни за дальним лесом, Где словно сжат гигантским прессом Седой и сизый оком», или «Вновь заневестились ткемали, Цветет миндаля, В сиянье голубой эмали Струится даль». Свежо, точно, ладно срифмовано...

Глан Онанян много и плодотворно работает в области художественного перевода. Правда, в рассматриваемом сборнике отсутствуют стихи грузинских поэтов, переведенные им на русский язык, о чем можно только сожалеть. Но зато есть тут очень емкое стихотворение, в котором поэт полноправно размышляет о труде переводчика (вспомним хотя бы его отличную книгу переводов стихов курдских поэтов, высоко оцененную центральной пресой). Строчки из него просто нельзя не привести тут:

А я — поэт и переводчик,
На переправе перевозчик...

Гордясь своею высокой участью «разноязыкие культуры

соединять, как берега», поэт так заканчивает это стихотворение:

Я горд профессией отважной
Высоких трудностей и прав —
Я перевозчик самой важной
Из всех на свете переправ!

Сборник «Преодоление» — подлинно поэтическая книга, собрание истинных стихов и истинных, не бутафорских чувств. Доброго читательского отношения к «Преодолению», как и искренней благодарности Глану Онаняну за доставленную радость первооткрытия, не нарушить ни обидно неудавшейся обложке, ни даже огорчительной небрежности редактуры и корректоров, на что можно лишь посетовать. (Нередки в сборнике раздражающие опечатки. На 12-й странице обращение «Гряди!» подается как неуместное и по тексту нелепое «Гляди!». На 85-й странице энергичный, остро-эмоциональный эпитет «метанья» по чьему-то небрежению оборотился пошло-вздохательным и начисто искажающим смысл словечком «мечтанья». На странице 60-й «надежда» обозначена мужским родом, и, увы, список этот можно продолжить).

Книга стихов Глана Онаняна «Преодоление» начала свою жизнь и, без сомнения, не останется незамеченной теми, кто дорожит поэтическим словом, кому оно без преувеличения — и соль, и хлеб...

В. ВАХТАНГАДЗЕ



И. С. БОГОМОЛОВУ — 50 ЛЕТ

После окончания филологического факультета Тбилисского государственного университета он поступил в аспирантуру Института истории грузинской литературы имени Ш. Руставели АН ГССР и сразу же активно включился в научно-исследовательскую работу.

На одаренность, усердие и работоспособность начинающего литератора обратил внимание выдающийся грузинский писатель и ученый — академик Георгий Леонидзе, тогдашний директор Института истории грузинской литературы, лично взявшийся за научное руководство работой аспиранта. Кстати, именно Г. Леонидзе — прекрасный знаток и русской литературы, и русско-грузинских литературных связей — предложил начинающему ученому тему диссертационной работы — «Я. Полонский и Грузия». В результате были написаны три книги И. С. Богомолова, вызвавшие широкий интерес в научных кругах и явившиеся заметным вкладом в изучение наследия видного представителя русской литературы, творчество которого, к слову, заслуживало лучшей

В ИДНЫЙ представитель грузинской советской литературоведческой школы, заведующий отделом литературных взаимосвязей советского периода Музея дружбы народов АН ГССР, доктор филологических наук, профессор Тбилисского государственного университета, член Союза писателей СССР Игорь Семенович Богомолов не только своей деятельностью, но и всей своей жизнью и биографией как бы олицетворяет идею дружбы народов. Русский по национальности, он рос и воспитывался в Грузии, в совершенстве овладел грузинским языком, глубоко изучил грузинскую литературу, как дореволюционную, так и советскую, и полностью посвятил себя крайне важному и благородному делу — изучению грузино-русских культурно-литературных взаимосвязей.

участи, чем бытовавшее до пятидесятых годов текущего столетия в нашем литературоведении отношение к нему.

Первые успехи открыли молодого исследователя, и он с завидной творческой активностью включился в сложную сферу литературных изысканий.

Прошли годы увлеченного, по-настоящему напряженного труда. Список научных работ И. С. Богомолова быстро рос, и уже спустя двадцать лет после начала научно-исследовательской и литературно-критической деятельности количество его трудов, статей, очерков и обзоров перевалило за добрую сотню.

Следует отметить многогранность интересов и широту исследовательского диапазона И. С. Богомолова. Его научные труды, как и литературно-критические, а также публицистические статьи и обзоры охватывают многие стороны и текущего литературного процесса, и актуальные вопросы истории русской и грузинской литератур прошлого столетия.

Особо следует подчеркнуть, что И. С. Богомолов не замыкается в кругу вопросов истории литературы, но активно сотрудничает в сфере литературной критики, в результате чего им написано много интересных статей, очерков, портретов. Из трудов, посвященных современной русской, грузинской, а также другим братским литературам и их взаимосвязям в советский период, особо следует отметить объемистые книги И. С. Богомолова «Дружба братских литератур» и «Чувство семьи единой», написанных совместно с Р. С. Миминошвили.

О широте научных интересов И. С. Богомолова как литературоведа, критика, историка литературы свидетельствуют прежде всего одиннадцать разноплановых книг и свыше 150 научных работ, опубликованных на русском, грузинском, украинском, армянском, литовском и других языках.

Его научные труды характеризуются глубоким проникновением в эпоху изучаемого писателя, основательным знакомством с историей как русской, так и грузинской литературы, четкой определенностью принципов изучения и твердой идейной позицией в оценке литературных фактов и явлений, комплексным подходом к исследуемому предмету (проникновением в историю, социальную среду, политическую конъюнктуру, литературно-художественные традиции).

В силу этого научные труды и литературно-критические статьи И. С. Богомолова перешагнули границы нашей республики, получив известность и за ее пределами; они были опубликованы в Москве, Киеве, Ереване, Риге, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, Фрунзе, Таллине, Вильнюсе, Херсоне и других городах нашей страны.

И все же следует признать, что, несмотря на широту научно-литературных интересов И. С. Богомолова, основным направлением его исследовательской деятельности является изучение литературных взаимосвязей, и особенно грузино-русских культурно-литературных отношений, признанным специалистом чего он сегодня является.

В эту сравнительно новую область советского литературоведения им внесен замет-

ный вклад. Особенно ценны в этом отношении его труды, посвященные изучению грузинского романтизма и литературных взаимосвязей грузинских романтиков с русской духовной культурой.

И. С. Богомолов глубоко осветил целый ряд вопросов, доселе не изученных, выявил много фактов, впервые сделал их достоянием советского литературоведения. В этой связи в первую очередь следует назвать такие его книги и монографии, как «Из истории грузино-русских литературных взаимосвязей (первая половина XIX века)», «Григол Орбелиани и русская культура», «Александр Чавчавадзе и русская культура», «Важа Пшавела и русская действительность», «Я. П. Полонский в Грузии», «Грузия в поэзии Павла Антокольского» и другие.

Об интересе всесоюзной общественности к научно-литературной продукции И. С. Богомолова свидетельствуют, в частности, те высказывания и оценки, которые принадлежат выдающимся деятелям многонациональной советской литературы. Так, например, известный своей скупостью на комплименты П. Г. Антокольский, прочитав книгу «Грузия в поэзии Павла Антокольского», писал: «Ваша книга, прочитанная заново, произвела на меня очень сильное впечатление... Я еще раз благодарю Вас от всего моего сердца. Вы молодчина! Хорошо, если бы взялись за увесистый том, в коем была бы отражена работа в Грузии других русских товарищей-поэтов: К. Симонова, Н. Тихонова, Пастернака(1), Ахмадулиной, Межирова, Евтушенко и многих еще,

и русских, и украинцев... Та-
кая работа Вам и к лицу, и
очень по силам... Оцените, пожалуйста,
чтобы именно Вы за нее
взялись, не откладывая в
долгий ящик! Низко Вам
кланяюсь за уже сделанное
Вами!».

М. П. Бажан, получив книгу И. С. Богомолова «Важа Пшавела и русская действительность», так отозвался о ней: «Большое спасибо за любезно присланную Вами книгу... Она посвящена, по моему мнению, одному из самых выдающихся и своеобразных поэтов XX века. Правильно Вы говорите о большой роли, которую сыграл в истории русских переводов Пшавела такой блестящий мастер, как Николай Заболоцкий... Хорошей Вам работы, здоровья, новых книг и новых успехов, дорогой Игорь Семенович!».

Подобных отзывов можно было бы привести немало. Они содержатся и в рецензиях на его работы, которые были опубликованы в Тбилиси, Москве, Киеве, Ереване, Вильнюсе, Ташкенте, Душанбе, Кустанае, Бухаре, Кутаиси и других городах. Журнал «Литературная Грузия», к примеру, писал: «Книгу «Чувство семьи единой» можно считать этапом в изучении литературных взаимосвязей, где исходным пунктом выбрана грузинская литература. Но она способна служить примером для исследователей связей братских литератур в других республиках: ведь... труда подобного масштаба нет пока нигде. Рецензируемая работа — этап на пути дальнейшего изучения литературных взаимоотношений советских литератур» (1978, № 2).

А вот как отзывался о книге «Важа Пшавела и русская действительность» московский журнал «Вопросы литературы»: «Прекрасное знание реалий общественного и литературного движения в России и на Кавказе XIX и XX веков, стремление к исчерпывающей доскональности и давний опыт библиографа и архивиста — вот те прочные опоры, на которых крепится эта книга» (1981, № 4).

Объем данной статьи не позволяет привести цитаты из других рецензий, но суть их сводится к следующему: работы И. С. Богомолова — новое слово в грузинском и советском литературоведении.

Активную литературно-критическую деятельность исследователь успешно совмещает с плодотворной общественной работой. Он является членом Республиканского координационного совета по международным отношениям, членом президиума Республиканского комитета защиты мира, членом бюро и заместителем председателя русской секции Союза писателей Грузии, членом общей редколлегии и ответственным редактором отдельных томов ежегодного издания АН ГССР «Мегиобоба» («Дружба») и т. д.

И. С. Богомолов часто выступает на всесоюзных и республиканских конференциях с интересными докладами. Он

инициатор многих важных начинаний по дальнейшему развитию общественно-культурного сотрудничества народов СССР.

Коммунист И. С. Богомолов был избран делегатом XXVI съезда Компартии Грузии от Тбилисской партийной организации.

В течение восьми последних лет им читаются лекции на филологическом факультете Тбилисского государственного университета. Много сил и энергии отдает он воспитанию будущих специалистов.

Его активная научно-общественная деятельность в Музее дружбы народов АН ГССР способствует росту авторитета этой замечательной организации.

Многолетняя плодотворная, действенная научная, творческая, педагогическая и общественная деятельность И. С. Богомолова снискала ему всеобщее признание. 50 лет для талантливого ученого — это только полдень. Пожелаем же дорогому Игорю Семеновичу долгих лет жизни и новых творческих успехов во славу благородного дела, которому он посвятил всю свою сознательную жизнь.

ГЕОРГИЙ ЦИЦИШВИЛИ,
секретарь Правления Союза писателей Грузии, член-корреспондент Академии наук Грузинской ССР

Народный артист СССР композитор Отар Тактакишвили за создание оперы «Похищение луны» и Концерта для скрипки с оркестром удостоен высшей награды —

● Ленинской премии СССР 1982 года.

● Редакция поздравляет Отара Васильевича и желает ему новых творческих побед.

Мира ПИЧХАДЗЕ

«БЫТЬ БЛИЗКИМ К ЛЮДЯМ...»

«Я ХОЧУ писать человеческую, добрую, мелодичную музыку, чтобы быть близким к людям». Эти слова я не раз слышала в личной беседе с Отаром Тактакишвили.

С этой целью пришел он в большой мир искусства и остался верен высокой миссии. Он оказался на редкость целенаправленным художником, хотя мог быть вовлечен в орбиту модных течений, не чуждых грузинской музыке.

Талантливый продолжатель традиции национальной классики, О. Тактакишвили, гражданин и композитор, всегда — в тесном контакте с временем. Ни положение, ни посты (хоть и очень ответственные) ни на минуту не отвлекали его от созидательного процесса — его творческая мысль работает безостановочно, композиторская плодовитость завидна. Пять опер за последние двадцать лет! И все они идут на сцене. И сколько еще произведений самых различных жанров!

Что это — талант, внутренняя организованность, чувство ответственности? Или, может быть, неумение жить иначе? Наверное, все вместе.

Он начинал путь в искусстве с твердым намерением занять свое определенное место. В этом не было ни бравады, ни самовлюбленности, лишь огромное напряжение творческих сил, неумная энергия, пытливость ума.

И он нашел себя. С его именем стали связывать процессы становления грузинской советской музыки. Он сыграл важную роль в развитии ряда жанров, и в первую очередь оперы. Сегодня уже можно говорить о многоликом оперном мире О. Так-

такишвили, без которого нельзя себе представить современный грузинский музыкальный театр. Сегодня можно утверждать, что именно благодаря О. Тактакишвили оперный жанр за последние годы занял одно из ведущих мест в грузинской музыке.

Но с какой осторожностью, даже с опаской, подбирался композитор к опере, памятуя о том, что она, самая демократическая из всех жанров, жестоко мстит за себя, когда ее лишают исконной природы, и, наоборот, охотно идет навстречу слушателю, когда ей сохраняют человечность, красоту, поэзию чувств. О. Тактакишвили хорошо знал это. Здесь проявилось одно из самых ценных свойств композитора — цельность творческой природы. Стилистическое единство, ясность и логичность мышления каждый раз позволяли ему перебрасывать мосты от уже найденного к вновь создаваемому. Так выстраивался образный мир его музыки, только ему присущий, индивидуальный.

Он начал с инструментального жанра, хотя еще совсем молодым написал хоровую песню в стиле советских массовых песен. Она стала гимном нашей республики. Ее простота и величавость, строгость и широта воссоздали дух народа. И уже здесь проявилось ощущение специфики человеческого голоса, владение искусством вокала, умение мыслить ясно и просто.

С приходом О. Тактакишвили в грузинской музыке получает развитие новая разновидность национального симфонизма — лирико-психологический симфонизм. Расширяется тематическая и образная сфера жанра; произведения молодого композитора все чаще появляются на афишах рядом с сочинениями А. Баланчивадзе, Ш. Мшвелидзе, А. Мачавариани.

Пятидесятые годы — первое послевоенное десятилетие, когда начинается новый этап нашей жизни, когда формируется молодой человек нового общества. Он способен не только оценить явления, но и глубоко заглянуть в самую их суть. Для него особенно острой, жизненно необходимой становится борьба за светлые идеалы, за мирное будущее. Значительные события действительности получают отражение в крупных симфонических полотнах.

О. Тактакишвили не может стоять в стороне от этих процессов хотя бы потому, что он сам — представитель этого нового поколения. Он и его сверстники знают цену миру. Так приходит в музыку композитора образ современника, глубоко мыслящего, духовно богатого, сильного, волевого, преодолевающего жизненные преграды, так сталкиваются друг с другом остроконфликтные коллизии.

И так рождается в творчестве одна из главных тем — тема

борьбы против зла и насилия, тема человеколюбия, добра, щедрости души и утверждения прекрасного. Чем дальше, тем больше тема получает все более обобщенное, высокоэтическое звучание, особенно полно и ярко проявившееся в одном из самых гуманных жанров — опере («Миндия», «Три новеллы», «Похищение луны» и недавно созданные лирико-комические «Мусуси» и «Первая любовь»).

На рубеже сороковых-пятидесятых годов появляются две симфонии, Первый фортепианный концерт, закрепившие за О. Тактакишвили имя одного из ведущих и передовых грузинских композиторов. Сегодня уже очевидна жизненность этих произведений. Первый фортепианный концерт принадлежит к числу тех инструментальных сочинений, которые составляют основной концертный репертуар наших исполнителей. Эффектный, эстрадный, виртуозный, написанный вдохновенно, с артистизмом, выросший на интонационной основе многообразного грузинского фольклора, концерт О. Тактакишвили талантливо преломляет традиции русских классических концертов Чайковского, Рахманинова.

Но помимо художественных достоинств, произведения пятидесятых годов заслуживают пристального внимания еще и потому, что в них ярко проявились черты стиля, ставшие затем характерными для последующих опусов.

Сегодня, когда композитор достиг творческой зрелости, когда четко выявилась его гражданственная и художническая позиция, можно говорить об этом с определенной твердостью.

О. Тактакишвили мелодист и по складу своего дарования, и по убеждению. В красоте, певучести, широте тем, в их ясности, простоте и естественности видится ему средство общения со слушателем, без которого он не мыслит назначения художника. Здесь он до конца верен и предан традициям. И время, самый бескомпромиссный судья, доказало правоту его творческой позиции. Иначе он не одержал бы явных побед в столь любимом народом жанре, как опера. Иначе его «Миндия» не была бы признана наиболее ярким образцом грузинского оперного искусства, талантливо развившим традиции музыкального театра Палиашвили. А его «Мусуси» и «Первая любовь» не привлекли бы столь пристального внимания широкой общественности, не будь они большой удачей в области такого сложного жанра, как комическая опера.

Доступность симфонических произведений О. Тактакишвили определяется не только их мелодической щедростью. Его инструментальные мелодии вокальны по своей внутренней природе, складу, характеру. В то же время в операх проявляется настоя-

щее симфоническое мышление композитора, умеющего наряду с выпуклыми музыкальными портретами создавать развернутые оркестровые эпизоды, обобщающие идею, углубляющие сценную ситуацию.

Уже в ранних сочинениях О. Тактакишвили тяготеет к этому — он придает инструментальной теме вокальную певучесть, а вокальной мелодии — широкое симфоническое дыхание. Впоследствии, в зрелый период, в ораториях, кантатах и особенно в операх этот метод становится одним из основных творческих принципов. Не подобное ли взаимопроникновение, взаимообогащение родило замечательные страницы оперных партитур: первую картину первого действия «Мусуси», где средствами пантомимы и чисто инструментальной музыки воссоздан групповой портрет всей деревни; или легкую, грациозную, изящную увертюру «Первой любви», в которой перед слушателем, словно обгоняя друг друга, мелькают образы-портреты колоритных персонажей оперы; овеванную высокой поэзией, вдохновенную, чисто оперную арию Христора, впечатляющую единым внутренним симфоническим дыханием, из той же «Первой любви»; или полную эмоциональной напряженности, динамики оркестровую постлюдню заключительной арии Миндии, которая обобщает идейно-философский смысл произведения.

Театральность музыки, образность мышления, яркая портретность, характерные для опер О. Тактакишвили, проявляются уже в ранних сочинениях. Многие эпизоды его инструментальных произведений картинны, театрально выпуклы. И не случайно, что психологическая углубленность первой и третьей частей Второй симфонии или внутренняя конфликтность, контрастность третьей части Первого фортепианного концерта перекликаются, а порою и предвосхищают драматически напряженные сцены «Трех новелл» и «Похищения луны».

Начиная с пятидесятых годов, О. Тактакишвили пишет музыку для целого ряда спектаклей в драматическом театре имени Ш. Руставели. И лучшие из них — «Отарова вдова», «Царь Эдип», «Борис Годунов», «Король Лир», «Миндиа Хоган» расчищают дорогу его оперным произведениям.

А еще больше, пожалуй, приблизили его к оперному жанру вокальные циклы на стихи В. Пшавела и Г. Табидзе, в поэзии которых он открыл для себя новый мир художественных образов, нашел новые средства выразительности.

В цикле на стихи Важа Пшавела композитор прочувствовал философскую глубину и мудрость поэзии В. Пшавела, радость от

общения с природой. Этот цикл закономерно привел его к опере «Миндия».

«Миндия», как и созданная в один год с ней «Десница Восточного мастера» Ш. Мшвелидзе, знаменовала собой новый и, пожалуй, самый значительный этап в истории грузинской советской оперы.

Первая же опера О. Тактакишвили получила всеобщее признание. Да, это была настоящая творческая победа — музыка ее очень скоро нашла доступ к широкому слушателю. И опять же самыми ценными ее качествами явились мелодическая щедрость и красота, простота и естественность выражения, опора на традиции национальной классики и гуманность. Музыка ее была способна взволновать и увлечь, и в этом таилась сила ее воздействия.

Ряд номеров «Миндии», покинув оперную сцену, зажил самостоятельной жизнью на концертной эстраде: ария Чалхия «Раненый орел», ариозо и арии Мзии и Миндии. Такого еще не было в истории грузинского советского оперного жанра. Драматургически цельная, единая по дыханию, насквозь симфоничная оперная партитура «Миндии» выявила редкое ощущение композитором специфики театральной сцены. Ведь не случайно, что О. Тактакишвили сам пишет либретто для своих опер. Именно чутье театрального драматурга натолкнуло его на мысль использовать в «Миндии» закулисный хор, создающий неповторимый колорит «Голосов природы», столь органичный в развитии драматического действия.

И то же чутье помогло ему столь удачно решить проблему финала — «камень преткновения» многих грузинских опер. Финал «Миндии» — одна из самых ярких, впечатляющих страниц. Опера заканчивается напряженно-страстной арией Миндии, пожалуй, лучшим вокальным номером героя. И именно здесь композитор опускает занавес, находит последнюю, логическую точку. Слушатель выходит из театра под самым сильным эмоциональным впечатлением.

Многообразен и богат оперный мир О. Тактакишвили, многообразны формы, приемы и средства музыкальной выразительности: лирико-психологическая «Миндия», оперный триптих, где впервые использована композитором форма оперной новеллы и где впервые в его творчество входит проза Михаила Джавахишвили, монументальная героическая драма «Похищение луны», простая, незатейливая сельская комедия «Мусуси» и лирико-комическая «Первая любовь», воспевающая крылатую мечту. Во всех операх композитором найдены самые разнообразные вокальные

формы, равно как разнообразен их музыкальный язык: ариозо-речитативный стиль «Трех новелл» совершенно отличен от медо-дической распевности вокальных партий «Похищения плутов» и карталино-кахетинский диалект «Мусуси» — от интонации городской музыки, в частности кутаисского фольклора «Первой любви».

Поиск художественной правды каждый раз рождал в творчестве О. Тактакишвили новые замыслы, приводил композитора к новым формам оперного спектакля. Так появились «Три новеллы» — оперный триптих. Эти три совершенно самостоятельных сочинения — два на прозаические произведения М. Джавахишвили и одно — на стихотворения Г. Табидзе, составили монолитное произведение, проникнутое единой идейной концепцией. Каждая новелла отразила драматические эпизоды жизни предреволюционной и революционной Грузии. Развертывающиеся события в исторической последовательности рассказали о социальном пробуждении людей. Этот идейный лейтмотив «сцементировал» три новеллы, способствуя их восприятию как единого произведения. В первых двух новеллах «Два приговора» и «Солдат» композитор передал остроту событий и драматизм социальных бурь сквозь призму людских отношений, создав сильную психологическую драму. Новая форма заставила О. Тактакишвили в определенной степени отказаться от устоявшихся оперных традиций. Он обновил жанр с помощью новых приемов и выразительных средств: синтеза музыки и разговорного текста, быстрой, буквально кинематографической смены коротких сцен-картин, своеобразного вокального интонирования, предельной лаконичности и стремительности развития действия. Композитор подошел к толкованию оперного жанра с сугубо современных позиций его синтетичности, привнося в него принципы и особенности смежных областей искусства.

Но какими бы смелыми ни были поиски, стиль О. Тактакишвили, его почерк оставались прежними. Художник-реалист, твердо стоящий на родной почве, не изменял себе. Он развивал и углублял найденное, шел к неизведанному, но свято чтит и ценит накопленное национальной культурой.

Кто знает, быть может, уже в работе над «Тремя новеллами» у композитора впервые родился замысел отразить в грандиозной форме большие, значительные социальные преобразования в жизни своего народа. Так бывало в творчестве композитора не раз — одна идея порождала другую, мысль работала безостановочно.

Огромное художественное полотно — роман К. Гамсахурдиа

лег в основу монументально-эпической оперы «Похищение луны», воссоздавшей бурные революционные события, социальные клизмы в развернутых массовых народно-хоровых сценах сильных, мужественных, темпераментных образах героев. Свеж и оригинален музыкальный язык этого произведения — впервые в оперную партитуру О. Тактакишвили так широко вливается богатый фольклор Западной Грузии: нежные, ласковые, лирически обаятельные мегрельские песни, задорные, искрометные гурийские мелодии полифонического склада. В музыке передан дух, колорит романа, внутренний настрой прозы К. Гамсахурдиа.

И как всегда, овладение новыми пластами грузинского фольклора происходило до создания оперы, в кантате «Гурийские песни», в сюите для тенора и камерного ансамбля «Мегрельские песни», которые подготовили интонационную основу «Похищения луны». Ведь и лирико-комические оперы композитора были подготовлены сочными, колоритными скерцо жанрового характера Первого фортепианного концерта, Второй симфонией и очаровательной оркестровой миниатюрой — зарисовкой «Юмореска», в которых проявилась совершенно иная грань дарования О. Тактакишвили — чувство юмора. Но коль скоро в музыке его властвуют доброта и гуманность, то и юмор его мягкий, незлобивый, сердечный.

А в перерыве между операми О. Тактакишвили вновь потянуло к инструментальной музыке, и он создает одно из вдохновенных своих произведений — Концерт для скрипки с оркестром. Этот монолитный по форме и единый по настроению четырехчастный цикл воспринимается как романтическое повествование с разнообразными художественными образами — от лирико-драматических, легких и грациозных, до жанрово-бытовых, с оттенком добродушного народного юмора. Великолепно чувствуя природу солирующего инструмента, композитор предоставил скрипке не только возможность максимального выявления своих выразительных и технических свойств. Она предстает здесь как живой голос, в глубоком ее пении передано многообразие человеческих чувств. Богатой фантазией, каскадом оригинальных находок изобилует оркестровая фактура концерта. Здесь властвует добрая, человечная, выразительная музыка, обобщающая главный авторский замысел. И вновь перед слушателем предстают знакомые, близкие и в то же время новые образы.

О. Тактакишвили удостоен Ленинской премии за оперу «Похищение луны» и за Концерт для скрипки с оркестром. Но высокая награда — это признание его большого вклада в развитие грузинского и вообще всего советского музыкального искусства.

СЛОВО О ДАТО КРАЦАШВИЛИ

БУДЬ они живы — Надя и Дато, вряд ли были бы они вот так рядом (как рядом разместились сейчас их работы на памятной выставке) по той простой причине, что Наде было бы сейчас тридцать лет, а Дато всего лишь девятнадцать. И вряд ли их жизненные пути пересеклись бы столь многозначительно, каковым оказалось трагическое пересечение их судеб с одним и тем же жизненным итогом: яркое творчество и ранняя смерть. Их объединяет безвремье, наступающее после смерти; в этом безвремье они останутся вечными детьми, в этом безвремье мы их соединяем. Гениальные дети... Дети ли? И да, и нет, столь недетской оказывается сила их творчества, хотя по возрасту... конечно же, дети они!..

Надю Рушеву и Дато Крацашвили объединяет трагедия раннего ухода из жизни, недетское ее ощущение, равно как острое восприятие выразительных и изобразительных возможностей искусства, и, конечно, ярко выраженная в творчестве индивидуальность. Но тот период, который прожил Дато, то есть те одиннадцать лет, которых уже не ощутила Надя, — это был период (если так можно сказать!) **более усложненных впечатлений от жизни**. Трудно объяснить почему. Сложнее ли стала жизнь, то есть стремительнее, насыщеннее... Или сложнее стало само восприятие жизни современными детьми, во всяком случае самыми способными среди своих сверстников, переживающих акселерацию, в том числе и духовную? Вопросы следуют один за другим, и среди них именно проблема акселерации—одна из самых сложных, особенно в отношении внутреннего мира юного человека.

Сопоставление творчества семнадцатилетней девочки конца 60-х годов и шестнадцатилетнего мальчика начала 80-х годов свидетельствует о значительно большей самостоятельности и редкой духовной активности последнего.

В отличие от работ Нади, которые возникают как бы «в орбите притяжения» великого искусства и в особенности литературы,

Тбилисцы познакомились с работами тбилисского школьника Дато Крацашвили, прожившего недолгую, но яркую жизнь. О нем, несомненно, еще будут написаны статьи, творчество его станет предметом серьезного изучения специалистов — настолько оно ярко, самобытно и талантливо. Об этом и говорили выступавшие на вечере памяти юных художников Нади Рушевой и Дато Крацашвили советские искусствоведы, художники, писатели и представители зарубежных стран, познакомившиеся с работами Дато на выставке в Москве. Вечер проходил в Музее дружбы народов АН ГССР в Москве в русле встреч, посвященных 60-летию образования СССР и 200-летию Георгиевского трактата.



Мы предлагаем читателям текст выступления (с небольшими сокращениями) на этом вечере кандидата искусствоведения, доцента кафедры истории искусств МГПИ им. Ленина, члена эстетической комиссии СХ СССР В. В. Алексеевой.

работы Дато — своеобразные сгустки мысли, мысли поразительно самостоятельной и мужественной по своему ходу, развитию, воплощению. Это не размышления по поводу увиденного или узнанного, да еще тем более в искусстве; это самостоятельное напряженное, активно-страстное мышление-раздумье, в пульсе которого невозможно ощутить мальчика-подростка или даже юношу. Перед нами феномен исключительно ранней духовной зрелости.

Стремительность вхождения Дато в тему выражается в создании специальной для нее изобразительной манеры. Если это наблюдение природы, человека, животного — оно и воплощается в богатстве реалистической методы, в системе которой рождается образ, пленяющий вас опоэтизированной конкретностью. Если же



ПЕЙЗАЖ С АРБОЙ

это образ воображаемый, идея «от ума» — Дато создает и для нее совершенно особый «изобразительный каркас», адекватный в своем строении сущности самой идеи. Отсюда разнообразие «почерка».

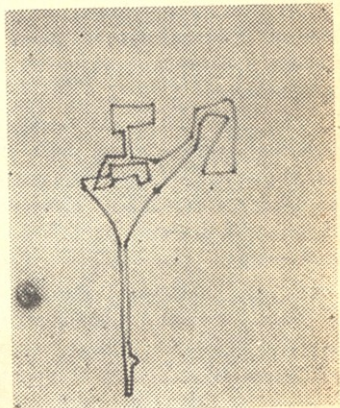
Мальчик-художник как бы изобретает эти манеры для каждой своей мысли, для каждого своего наблюдения. Поэтому даже принципы реалистического изображения воспринимаются в работах Дато как лично им пережитые, им созданные, несмотря на многовековое существование объективной доктрины реализма, объективных законов изображения реальности. По-видимому, и процесс обучения носил у Дато характер постоянных для себя открытий. Словно бы в мальчике уже есть что-то встречаемое, как бы некое ощущение, что именно надо делать, но оно еще не до конца оформлено. И Дато уже чувствует, но пока точно не знает, как именно надо изобразить объект или явление. И если процесс обучения открывает ему стройные законы, например, той же реалистической системы, он воспринимает их именно как свои. Потому что в нем было предощущение этой системы, но не столь ясное, логичное, каковой она оказывается в отработанных методиках. Он не заново узнает, а встречается с реализацией своего предощущения. Отсюда радость таких встреч, если они есть; или совершенно самостоятельная работа по созданию каких-то своих систем.

Реализм Дато — необычайно одухотворенный, и одухотворен он

отношением, переживанием изображаемой реальности, всем существом мальчика. Гистому в реализме Дато нет стыда идеальности блестящего ученика, слепо творящего форму и форме подчиненного. Для Дато форма — это средство, которым он оперирует в процессе одновременного слияния отражения реальности и выражения своей оценки ее, понимания ее, восприятия ее. Словом, все это грани, которыми светится феномен Отношения. Вот почему справедливо сказать, что все вещи Дато суть воплощение «отношения». И потому так бережна пластика лиц в портретах близких мальчику людей, ибо он сам «бережен» в отношении к ним; и потому так свободен, так стремителен штрих в прелестных анималистических рисунках, словно сам рисунок поспешает за вечным движением животных, которые динамичны даже в состоянии покоя; и потому так мерцает, так вибрирует цветовое пространство туманного или дождливого дня, или тбилисской улицы в ночи (картины «Туманный день в Тбилиси», «Дождливый день», «Ночная улица», масло; акварель), потому что для Дато на сей раз реальность — это туман, дождь, светящаяся городом ночь. Когда около картин Дато звучат слова «импрессионизм», «экспрессионизм» и т. д., не следует искать чего-то помимо реальности, тонкое видение и ощущение которой предопределяет «изобразительный режим» возникающего художественного образа. Не следует искать и подражания.

«Импрессионизм» Дато не похож ни на французский, ни на русский, ибо он создал его сам, сообразно своему видению и ощущению реальности света, атмосферы. Но ассоциации по поводу импрессионизма — справедливы, да и подобие обнаруживает-

ОСЕТИНСКИЙ ТАНЕЦ



КРЕСТЬЯНИН



ся. Оно и понятно, поскольку исходная реальность — едина. И все-таки подобие не есть подражание, как не оказывается подражанием совпадение, ибо последнее предполагает активность обеих сторон, каждая из которых **своим** путем приходит к подобным результатам. Вот почему справедливости ради следует особо подчеркнуть: Дато никому и никогда не подражал. Да у него к тому и не было возможностей, как свидетельствуют о том его педагоги, родные и близкие. Но если бы даже они и были (возможности), вряд ли столь активная и самостоятельно мыслящая натура, как Дато, вступила бы на этот путь.

Обилие технических приемов, изобразительных систем и метафор создает уникальную ситуацию: через личность мальчика как бы проходят все основные течения живописи и графики XX века, с той только разницей, что Дато никогда не расстается с реальностью образа; причем даже тогда, когда изображение не имеет своего прототипа в природе и являет собою причудливое детище воображения.

На выставке Дато Крацашвили вас неотступно преследует чувство именно страстного переживания мальчиком сложных явлений жизни, основных (как теперь принято говорить) фундаментальных ее проблем, почему собственно Дато и создает сугубо личное искусство. Что есть Человек! Жизнь и Смерть! Круговорот жизни! Велика связь Человека и Природы! Человек и Семья! Мысль и Мышление! Но одна из постоянных проблем, к которой Дато все время возвращается, без конца и наново интерпретируя ее, — это таинственное, сложное и всюду проникающее, мощное единство Человека и Природы.

И мальчик-художник настойчиво из работы в работу ведет

16 03 53 40
002 0110333

тему очеловечивания природы, а человека как-то непостижимо «проращивает» природой. Отсюда вариации на тему Человека-дерева или, наоборот, Дерево-человека. Образы очеловеченных деревьев, их одушевление всякий раз новы. Но это не сказочные оборотни или заколдованные герои. В рисунках Дато нет сладких фантазий, потому что монументальность, величавая медлительность этих образов скорее настраивает зрителя на философский лад. Перед нами раскрывается всепроникновение разветвленных объятий, их пронзительное человекоподобие.

Образы—разные, разных уровней: природа как образ вселенский и как образ родного края, родины многомудрой и древней, а потому пейзаж символический и пейзаж обыкновенный, обжитый людьми, их обыденной жизнью. Карикатуры и маски, раздумья и учение... у Рембрандта, Микеланджело; обилие жанров, коллажи, попытки осуществления монументальной живописи; или нечто в духе дизайнерских проб, но дизайн какой-то особый, выдуманный, выражающийся в создании совершенно изумительных по своему изяществу геометрических композиций, исполненных цветными шариковыми ручками, закрепленными в циркуле.

Обилие работ, насыщенность их содержания, формальное и техническое их разнообразие — весь этот словно извергающийся поток творчества свершается в столь краткий срок... Краткая и насыщенная жизнь Дато вызывает ощущение неестественной стремительности ее свершения. Он даже не успевает физически офор-

ТЕЛЕНОК



миться во взрослого человека, но духом принадлежит уже не детям. Сколь краток срок жизни протяженностью всего двадцать лет.

На выставке есть три автопортрета, исполненных Дато в 13, 14 и 15 лет. В них разительно меняется выражение глаз, глубина и осмысленность взгляда, недетская его усталость в 15 лет. Возникает чувство сопричастности какому-то завораживающему процессу ускоренного созревания личности; созревания по неизвестным нам законам неведомого нам психологического ускорения.

Сама стремительность трагична уже потому, что мальчик ощущал необходимость интенсивного творчества, коль скоро ему дано его свершить. «Человек исчезает, — говорит он, — но должен он прожить свою жизнь так, чтобы оставить след». И происходит бурное, донельзя раннее цветение творческой жизни Дато, в которой смешались фазы отрочества, юности и зрелости. Избыточность его духовных сил проявляется не только в изобразительном искусстве, но в поэзии, в музыке, не говоря в данный момент о его исключительной внешней привлекательности.

Казалось бы, вот она, столь редко посещающая нас гармония? Увы. Гармония хрупка, ей противопоказана такая стремительность становления, ибо уже сама стремительность дисгармонична. Эта дисгармония тем более ощутима, когда сравниваешь работы шестнадцатилетнего мальчика эпохи Возрождения, каковым когда-то был и Рафаэль, и шестнадцатилетнего мальчика XX века. Как бурно чувствуют наши дети! Как много вмещают они в себя! Сколь непредсказуемы их реакции! Как рано, как чрезмерно они мудреют, нарушая какое-то равновесие, составляющее самую суть гармонии.

Творчество Дато Крацашвили будет еще не раз объектом не только искусствоведческого изучения, но и психологического. Это редкое явление должно быть сохранено, а значит работам юного художника должно быть предоставлено место в экспозиции именно художественного музея, не говоря сейчас подробнее о необходимости издания его работ, их постоянной популяризации. Конечно, есть определенная трудность в том, что мальчик ушел от детей, но и не принят взрослыми коллегами по творчеству. И если художники «возьмут к себе» Дато (а мы надеемся, так будет), имя Дато Крацашвили будет примером самого раннего вхождения в большое искусство, которое свершилось на исходе XX века.



ПАМЯТИ РИММЫ КАНДЕЛАКИ

Первая повесть Риммы Канделаки «Бродил художник по городу» взяла старт в литературу со страниц вновь образованного четверть века назад журнала «Литературная Грузия». Сразу принятая и читателем, и критикой, она в 1958 году вошла в сборник «Содружество», выпущенный издательством Союза писателей Грузии «Заря Востока», а спустя два года была издана им же отдельной книгой, ставшей несомненной творческой удачей ее автора, долгие годы вынашивавшего мечту написать повесть о Нико Пиросмани.

Через год в переводе на грузинский язык повесть «Бродил художник по городу» из номера в номер публиковалась в республикан-

ской молодежной газете «Ахалгазда комунисти» с заставками и рисунками Ладго Гудиашвили.

Затем повесть о Пиросмани вышла за пределы республики, уже на всесоюзную арену, будучи переизданной в Москве, а вслед за этим снова была повторена в ставшем новым словом в творчестве Р. Канделаки ее одноименнике «Первый взгляд в мир», изданном «Мерани» в Тбилиси.

Константин Федин и Виктор Шкловский единодушно приняли ее. «Повесть очень хороша», — писал Римме Евгеньевне К. Федин. «Книга «Бродил художник по городу» — хорошая книга», — утверждал В. Шкловский.

Далее последовала напи-

санная в том же ключе повесть о другом художнике-самоучке, бытописателе старого Тифлиса — Ване Ходжабекове. Называлась она «Швейцар из кафе «Унион».

В обеих повестях в центре внимания — жизнь художников-самоучек, чья судьба связана с родным городом автора — Тбилиси, который без преувеличения можно назвать их вторым действующим лицом.

Привязанность Р. Канделаки к личности художника сказалась и в работе над повестью о русских художниках-передвижниках, выпущенной в ту же пору Детгизом.

Так от повести к повести набирал силу и высоту творческий потенциал писательницы, имевшей уже к тому времени за плечами большой опыт журналистской работы, снискавшей ей в 20—30-х годах признательность читателей газеты «Заря Востока», где тогда часто печатались ее очерки и фельетоны.

Но и потом, много и напряженно трудясь над своими новыми художественными произведениями — автобиографической повестью «Большие и маленькие», переносящей нас в мир детства и отрочества автора, в мир глубоких и тонких психологических переживаний, а также целым рядом рассказов, она не порывала с журналистикой, продолжая с неизменной и свойственной ей заинтересованностью и даже горячностью вторгаться в самую гущу жизни, поднимать наиболее проблемные, облекая их в яркую и живую форму.

Каждое ее появление в редакции всегда было сопряжено с публикацией — чего-то очень выстраданного и актуального.

Уже живя в Москве и сотрудничая в столичных журналах, Римма Евгеньевна не порывала связей с Грузией, с Тбилиси. И никогда не приезжала сюда, как говорится, с «пустыми» руками. Одерживая новыми идеями, планами, замыслами, всегда с запасом готовых или начатых работ, она приносила с собой в редакцию и издательства жизнь, поиск, неуспокоенность художника и гражданина.

Пока хватало сил, пока пальцы могли держать ручку, сюда легли ее трепетные, будоражащие душу и сердце письма и открытки с просьбами, напоминаниями, благодарностью, любовью... В них, как и во всем ею написанном, билось горячее, преданное людям и родине сердце. Этим талантом сердца отмечена вся ее жизнь, все ее творчество. Отныне нам очень будет не хватать его. Но теперь, когда Риммы Евгеньевны Канделаки нет, мы всегда будем с благодарностью вспоминать, что все лучшее, созданное ею, она прежде всего приносила в «Литературную Грузию», страницы которой сохраняют нам такие ее искренние и талантливые произведения, как повесть о Пиросмани, о днях детства и отрочества, как целый ряд ее взволнованных очерков, а также воспоминаний, связанных с Горьким и Маяковским.

БЕТАНЕЛИ Арчил Иосифович.

Род. в 1925 г. Доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой самолетостроения ГПИ им. В. И. Ленина, председатель Комитета космонавтики Грузинской ССР, член Грузинского республиканского комитета защиты мира. Член Союза журналистов СССР. Автор статей по вопросам космонавтики и контактов с внеземной цивилизацией.

надлежат пьесы «Поколение геороев», «Оленье ущелье», «Возвращение» и др.

КОБИДЗЕ Рамаз Сергеевич.

Род. в 1923 г. Окончил философский факультет ТГУ. Кандидат филологических наук. Автор сборников рассказов, романа «Листья папоротника». Перевел на грузинский язык произведения И. Ильфа и Е. Петрова, В. Вересаева, А. Беляева.

КВЛИВИДЗЕ Михаил Георгиевич.

Род. в 1925 г. Окончил Тбилисскую академию художеств. Печатается с 1944 г. Автор свыше двадцати поэтических сборников. Книги стихов М. Квливидзе были изданы в Италии, Польше, Венгрии. Переводит польскую и венгерскую поэзию, награжден медалями и дипломами за заслуги перед польской и венгерской литературой.

ПИЧХАДЗЕ Мира Яковлевна.

Окончила Тбилисскую государственную консерваторию им. В. Сараджишвили. Кандидат искусствоведения. Заслуженный деятель искусств Груз. ССР. Автор монографий «Государственный симфонический оркестр Грузии» (1958), «В мире прекрасных звуков» (1962), «Александр Шаверзашвили» (1972), «Грузинский театр музыкальной комедии» (1982), статей, опубликованных в журналах «Музыкальная жизнь», «Сабчота хеловнеба», «Театральный вестник» и др.

КЛДИАШВИЛИ Серго Давидович.

Род. в 1895 г. В 1917 г. окончил юридический ф-тет Московского университета. Являлся членом литературной группы грузинских символистов «Голубые роги». Автор сборников новелл, широкоизвестных романов «Пепел», «Тихая обитель» и др. Перу С. Клдашвили при-

ХАРЧИЛАВА Вахтанг Покроевич.

Род. в 1948 г. Окончил филологический ф-т ТГУ, печатается с 1966 г. Автор книги «Альтернатива», вышедшей в изд-ве «Мерани» в 1979 г.

66/150



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

З. Г. АБЗИАНИДЗЕ, Р. Н. АСАЕВ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Г. П. ДОЧАНАШВИЛИ, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), Э. Д. КВИТАИШВИЛИ, Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, О. Ф. НОДИЯ, Л. Ш. СТУРУА, Э. А. ФЕЙГИН, Г. В. ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Сдано в набор 8.VII-82. Подписано к печати 23.VIII-82. Формат 84×108¹/₃₂. УЭ 01254: Высокая печать. Печ. л. 7,0 — усл. печ. л. 11,97: Уч-изд. л. 9,4. Тираж 8600 экз. Заказ № 1735. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

Тбилиси, ул. Ленина, 14.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

на ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ»

на 1983 год!

Стоимость подписки на 1 год — 7 руб. 80 коп.;
на 6 месяцев — 3 руб. 90 коп.

Подписка оформляется во всех отделениях
«Союзпечати».

Помните, что в розничную продажу журнал по-
ступает в ограниченном количестве.

65 к

ИНДЕКС 76117

ՀԱՅԿԵՅԱՆ
ՆՈՒՆԱԳՐԱԴԱՐԱՆ

ԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գրականության համալսարանի Գրականության ֆակուլտետի Մեծ դահլիճում

հրատարակված է 1976 թվականի օգոստոսի 1-ին

ԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գրականության ֆակուլտետ

Գրականության ֆակուլտետի Գրականության ֆակուլտետի Մեծ դահլիճում

հրատարակված է 1976 թվականի օգոստոսի 1-ին

Գրականության ֆակուլտետի Գրականության ֆակուլտետի Մեծ դահլիճում

հրատարակված է 1976 թվականի օգոստոսի 1-ին

Գրականության ֆակուլտետի Գրականության ֆակուլտետի Մեծ դահլիճում

հրատարակված է 1976 թվականի օգոստոսի 1-ին